

Сборник содержит материалы семинара “Автор и биография, письмо и чтение”, проходившего в феврале — апреле 2011 года на факультете философии НИУ ВШЭ. В нем рассматриваются теоретико-методологические вопросы изучения биографии и автобиографии, анализируются конкретные авто/биографические тексты — от Античности до XX века. Книга в первую очередь адресована преподавателям и студентам гуманитарных дисциплин: историкам, литературоведам, антропологам, психологам. Она также обращена к широкому кругу читателей, интересующихся историей и теорией автобиографии, культурой итальянского Возрождения, историей русского Раскола.



АВТОР И БИОГРАФИЯ, ПИСЬМО И ЧТЕНИЕ



АВТОР
и
БИОГРАФИЯ

ПИСЬМО
и
ЧТЕНИЕ

**ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**АВТОР И БИОГРАФИЯ,
ПИСЬМО И ЧТЕНИЕ**

**Сборник докладов
междисциплинарного исследователь-
ского семинара факультета философии
НИУ ВШЭ
(Москва, февраль — апрель 2011 г.)**



**Издательский дом
Высшей школы экономики
Москва 2013**

УДК 303.01
ББК 60
А-223

*Издание подготовлено и осуществлено при поддержке
Научного фонда (Коллективный исследовательский проект
«Учитель — Ученики» № 10-04-0003) и факультета
философии НИУ ВШЭ*

Автор и биография, письмо и чтение. Сборник докладов / ред.-сост. Ю. П. Зарецкий, В. П. Лихачев, А. Ю. Зарецкая ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 252 с. — 150 экз. — ISBN 978-5-7598-1054-4 (в обл.).

В сборнике в широком междисциплинарном контексте обсуждаются актуальные проблемы изучения авторства, биографии, читателя. Статьи сгруппированы в два раздела: «Теория» и «Анализ». В первом акцентируется внимание на теоретико-методологических вопросах изучения биографии и автобиографии; во втором рассматриваются конкретные авто/биографические тексты и конкретные фигуры исторических персонажей — от Античности до XX века. В приложении дается история творческого пути крупнейшего современного исследователя автобиографии Филиппа Лежена, а также библиография его работ. Книга в первую очередь адресована научным работникам, преподавателям и студентам гуманитарных дисциплин: историкам, литературоведам, антропологам, психологам. Она также обращена к широкому кругу читателей, интересующихся историей и теорией автобиографии, культурой итальянского Возрождения, историей русского Раскола, изучением личных свидетельств.

ISBN 978-5-7598-1054-4

© Коллектив авторов, 2013
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов.....	7
Т Е О Р И Я	
<i>Елена Никитина</i> Авторство как коммуникативная роль.....	11
<i>Юрий Зарецкий</i> Новые подходы к изучению свидетельств о себе в европейских исследованиях последних лет.....	24
<i>Вадим Менжулин</i> Биография философа: изучать нельзя не изучать.....	42
<i>Инна Голубович</i> П.М. Бицилли о феномене автобиографии и «биографический поворот» в современной гуманитаристике.....	62
А Н А Л И З	
<i>Александр Харченко</i> Образ и биография Луция Сергия Катилины: от мифа к мифу.....	81
<i>Владимир Селиверстов</i> Проблема фиксации субъективности на примере Vita Альберти.....	107
<i>Роман Гуляев</i> Буржуа или рыцарь? Скрытый сюжет «Хроники» Бонаккорсо Питти.....	119

Мария Вагина, Гаяне Аванян
Натурфилософия Джироламо Кардано: «распад и брожение» эпохи.....139

Михаил Роцин
«Житие» протопопа Аввакума как памятник переломного времени в России XVII века и как опыт первых русских мемуаров.....151

Ольга Морозова
Нарратив профессора И.А. Малиновского.....161

Елена Толкачева
Письмо как особый вид коммуникативного процесса (на примере эпистолярного наследия М.Цветаевой).....191

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Филипп Лежен
От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария.....205

Полная библиография работ Филиппа Лежена об автобиографии, опубликованных на французском, английском и русском языках.....229

Сведения об авторах.....251

От редакторов

Этот сборник является итогом работы серии семинаров, проходивших на факультете философии НИУ ВШЭ во втором семестре 2011–2012 учебного года. Цель их состояла в том, чтобы, создав «критическую массу» из известных и начинающих исследователей, обсудить в широком междисциплинарном контексте проблемы изучения авторства, биографии, читателя, особенно актуальные в истории культуры сегодня.

Мы рады возможности выразить признательность всем его участникам: преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, студентам НИУ ВШЭ, МГУ, РГГУ, Института всеобщей истории, Института востоковедения, Института языкознания РАН. Наша особая признательность — Владимиру Менжулину (НУ «Киево-Могилянская Академия», Киев, Украина) и Павлу Крылову (Санкт-Петербургский институт истории РАН), специально приехавшим на семинар из других городов. Мы также благодарны тем исследователям, которые по каким-то причинам не смогли принять непосредственное участие в работе семинара, но прислали свои статьи: Ирине Голубович (Одесский национальный университет), Ольге Морозовой (Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону) и Александру Харченко («Донское наследие», Ростов-на-Дону).

Публикуемые ниже материалы сгруппированы в два раздела: «Теория» и «Анализ». В первом акцентируется внимание на теоретико-методологических вопросах изучения биографии и автобиографии: коммуникативной роли авторства (Е.С. Никитина), новых перспективах изучения автобиографических свидетельств (Ю.П. Зарецкий), проблеме соотношения биографии философа и его творчества (В.И. Менжулин), связи «биографического поворота» в современных гуманитарных науках с творчеством известного русского историка культуры П.М. Бицилли (И.В. Голубович). Второй содержит статьи, рассматривающие конкретные авто/биографические тексты и фигуры конкретных исторических персонажей — от Античности до XX века. Откры-

вает раздел исследование исторических трансформаций образа Луция Сергия Катилины (А.А. Харченко). Далее следует анализ автобиографических сочинений представителей эпохи итальянского Возрождения: Бонаккорсо Питти (Р.В. Гуляев), Леона Баттисты Альберти (В.В. Селиверстов), Джироламо Кардано (М.Ю. Вагина, Г.Г. Аваян). Три работы посвящены рассмотрению автобиографических свидетельств русских авторов: протопопа Аввакума (М.Ю. Роцин), Иоанникия Малиновского (О.М. Морозова), Марины Цветаевой (Е.В. Толкачева). В приложении помещена история творческого пути крупнейшего современного исследователя автобиографии Филиппа Лежена, рассказанная им самим, а также подробная библиография его работ, изданных на французском, английском и русском языках. Мы выражаем искреннюю признательность мэтру за присланный французский оригинал этой истории, а также Юлии Витальевне Ткаченко за мастерский ее перевод.

ТЕОРИЯ

Елена Никитина

Авторство как коммуникативная роль

«Автор должен находиться на границе
создаваемого им мира...»

М. Бахтин

Формирование у студентов-гуманитариев стройной системы дисциплинарного мышления предполагает освоение не только свода обязательных дисциплинарных знаний, но и навыка работы с текстом. Представляется верным утверждение М.М. Бахтина, что текст, как письменный, так и устный, есть первичная данность гуманитарных наук. «Текст является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут исходить эти дисциплины и мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления. <...> Гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, волеизъявлениях, манифестациях, выражениях, знаках, за которыми стоят проявляющие себя боги (откровение) или люди (законы властителей, заповеди предков, безыменные изречения и загадки и т.п.)» [Бахтин, 1979, с. 281–282].

С текстом могут устанавливаться отношения как с вещью, как с инструментом, или же, как с субъектом, иначе, диалогические отношения [Никитина, 2011]. Последнее включает не только понимание текста, но и бореение с ним, отрицание его, или, напротив, его канонизацию, усвоение, цитирование. Диалогические отношения шире полемики, спора или пародии. «Доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитарное слово), ученичество, поиски и вынуждение глубинного смысла, согласие, его бесконечные градации и оттенки (но не логические ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетания многих голосов (коридор голо-

сов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т.п. Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции, целостные личности (личность не требует экстенсивного раскрытия — она может сказаться в едином звуке, раскрыться в едином слове), именно голоса» [Бахтин, 1979, с. 300].

Обученный адресат может выделять в тексте несколько уровней смысла.

Смыслы же внутри текста сами могут находиться по отношению друг к другу не только в иерархических отношениях, как то полагала герменевтика, но и в диалогических. И зависит этот тип смысловых отношений от позиции создателя (адресанта) текста в коммуникативном пространстве.

12 Три координаты коммуникативного пространства: горизонталь, вертикаль, саггиталь несут на себе общекультурные смысловые нагрузки, определяющие позицию или точку зрения «говорящего» на порождаемый текст. Точка зрения наблюдателя, притом включенного в наблюдаемый процесс, будет зависеть от его положения на оси координат, коммуникативных координат.

Горизонтальная ось — ось одновременности, живого, здесь и теперь диалога, движения вправо-влево, определяет не авторство, но владение темой, языком, ситуацией. Здесь слова можно «взять обратно», извиняться за них, просить прощения и т.п., возвращаться назад и вообще «тянуть резину» диалога. Смыслы высказывания здесь обратимы позициями оппонентов, пропонентов и т.п. Тут автор есть рассказчик, шире — повествователь. Он внутри времени повествования, а потому может на него воздействовать через текст.

Ось вертикальная предполагает нормы, иерархию, подчинение власти, авторитету и т.п. Писатель обязан соблюдать жанрово-стилистическую специфику повествования. Он включается в систему профессиональных коммуникаций. Для соблюдения жестких правил вертикали высказывание должно быть письменно оформлено и закреплено за создателем текста: чтобы отвечать за сказанное. И здесь уже — «слово не воробей». Здесь ведутся «диалоги мертвых».

Ось саггитальная, ось движения вперед-назад ставит перед «творцом» задачу изменяться, соответствовать времени, двигаться вперед вместе с текстом или назад в ностальгируемые времена. Здесь автору противостоит читатель. Произведение живет через воссоздание его в «новых авторах» — читателях.

И текст, и произведение есть высказывания, в Бахтинском понимании. Но не всякое высказывание становится текстом, и не всякий текст можно назвать произведением. Да и авторы, во всех этих случаях, получают разные амплуа. У них разные «авторские роли» в коммуникативном процессе текстопорождения. Игра с самим текстом, игра с диалогизирующими текстами, игра с читателем — вот творческие позиций в коммуникативных взаимоотношениях. Рассмотрим некоторые примеры.

Игра с читателем — один из возможных вариантов установления диалога. Так, найдется немало авторов, начинавших свои произведения так: «Автор этих путешествий мистер Лемюэль Гулливер — мой старинный и близкий друг; он приходится мне также сродни по материнской линии. Около трех лет тому назад мистер Гулливер, которому надоело стечение любопытных к нему в Редриф, купил небольшой клочок земли с удобным домом близ Ньюарка в Ноттингемшире, на своей родине, где и проживает сейчас в уединении, но уважаемый своими соседями. <...> Перед отъездом из Редрифа мистер Гулливер дал мне на сохранение нижеследующую рукопись, предоставив распорядиться ею по своему усмотрению. Я три раза внимательно прочел ее. Слог оказался очень гладким и простым, я нашел в нем только один недостаток: автор, следуя обычной манере путешественников, слишком уж обстоятелен. Все произведение, несомненно, дышит правдой, да и как могло быть иначе, если сам автор известен был такой правдивостью, что среди его соседей в Редриффе сложилась даже поговорка, когда случалось утверждать что-нибудь: это так же верно, как если бы это сказал мистер Гулливер.

По совету нескольких уважаемых лиц, которым я, с согласия автора, давал на просмотр эту рукопись, я решаюсь опубликовать ее, в надежде, что, по крайней мере, в продолжение некоторого времени, она будет служить для наших молодых дворян

более занимательным развлечением, чем обычное бумагомарание политиков и партийных писак... <...> Дальнейшие подробности, касающиеся автора, читатель найдет на первых страницах этой книги» [Свифт. Путешествие Гулливера].

И еще только одно вступление, список которых, однако, может быть продолжен до бесконечности. «Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весной прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо. В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания: Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, исправил их, подписал своим именем и выпустил в свет. Странная, но предсмертная воля!

14 В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме — никого у него не осталось на этом свете. И я принимаю подарок.

Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, маленьким сотрудником газеты "Вестник пароходства", единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан. Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия.

Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.

И, наконец, третье и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.

Этот эпитафия был: "Коемуждо по делом его..."

И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало. Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.

Итак...» [Булгаков, 1966].

Вступая в игровые отношения с текстом, автор неминуемо проходит три круга, три пространства коммуникативных взаимодействий. Каждое пространство отделено от другого действующими персонажами, правилами игры, режиссурой, и самое важное, социальным контекстом.

Пространство первое. Здесь будущий автор выступает повествователем, рассказчиком. Он наблюдает, запоминает, соединяет в образ и излагает по правилам нарратива, коих может и не знать, но «чувствовать». Так, Корней Чуковский описывает талант великого рассказчика Ираклия Андроникова: «В справочнике Союза писателей кратко сказано, что Андроников Ираклий Луарсабович — прозаик, литературовед, и только. Если бы я составлял этот справочник, я раньше всего написал бы без всяких покушений на эксцентрику:

Андроников Ираклий Луарсабович — колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в старину существовали подобные мастера и искусники. Но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что, едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников.

Люди, далекие от искусства, невежественные, называют это его мастерство имитаторством. Неверное, поверхностное

слово! Точнее было бы сказать: преображение. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед нами. Сам он при этом исчезает весь без остатка.

Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях — то самое, что сказал бы о них покойный писатель. Стемнело. Андроников продолжал говорить, и, пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда засветили лампу и я обнаружил, что это не Алексей Николаевич, а Ираклий.

Мало того, что он точно передал голос писателя, колорит его речи, ее тембр, ее интонации, — он воспроизвел самую манеру его мышления.

16 Преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки — его жесты, его походку, его голос, — нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления и силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах; например, какую лекцию прочитал бы наш друг академик Тарле, если бы на Землю напали, например, обитатели Марса» [Чуковский. Вступительное слово].

Раймон Кено, вступив в игровые отношения с текстом, сочинил 99 вариантов одной истории, охарактеризованные как «не поддающиеся классификации» «Упражнения в стиле».

Есть второе пространство, в которое повествователь входит уже в роли писателя и где его принимают в свою среду издатели, редакторы, корректоры, цензоры и иные лица из мира книгопроизводства. И тут начинается совсем другая коммуникация.

Автор и цензор — тема монографий и летописей. Автор и издатель. Отношения здесь не простые, чаще враждебные. Вот отрывок из статьи Контровского Владимира Ильича «Издатель — враг писателя»: «Враг поджидает писателя у порога, имя ему — издатель. И если редакторы, нанятые им работники, случают-

ся и милы, и полезны, то хороших издателей не бывает» [Николай Климонтович http://www.treko.ru/show_article_685].

Говорят, что слова, вынесенные в заголовок этой статьи, принадлежат Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Возможно. И более чем возможно, что такое говорил не только он один — просто потому, что данный тезис неоднократно доказан и сомнению не подлежит. Стоит, пожалуй, сделать только одно уточняющее дополнение: "Издатель — классовый враг писателя" (да, да, именно так, сколько бы не морщились противники классовой теории).

Основной (и единственной) целью издателя является получение прибыли, причём (как и во всех прочих сферах бизнеса) любой ценой — это альфа и омега. Если издатель услышит от писателя (от начинающего или маститого, без разницы), что последний хочет не просто заработать деньги или славу, но и намерен провести посевную разумного, доброго, вечного или заняться огнеопасными опытами с глаголом в непосредственной близости от людских сердец, издатель посмотрит на такого писателя как на недолеченного пациента больницы имени Кащенко, сбежавшего оттуда по недосмотру санитаров» [Контровский].

Автор и редактор. Будучи многогранной и многообразной по своей природе, редакторская работа может принимать различные формы. Она включает в себя открытие таланта в малоизвестном журнальчике или в кипе рукописей, пришедших "самотеком". Это может быть финансовая и эмоциональная поддержка в трудный период жизни писателя. Обнаружением рукописи дело, конечно, не ограничивается: обычно редактор пытается прояснить видение начинающего автора, он рекомендует изменения — изъятия, добавления, перестановки, — которые улучшили бы качество работы его "подопечного". При нормальном течении событий роль редактора относительно скромна, но существуют примеры "героической помощи": Эзра Паунд сократил "Бесплодную землю Т.С.Элиота наполовину — еще в то время, когда поэма называлась "Он поет на разные голоса" ("He Do the Police in Different Voices"); Максвелл Перкинс композиционно выстроил роман Томаса Вулфа "Взгляни на дом свой, ангел" и сократил его на шестьдесят пять тысяч слов. Чаше же отноше-

ния между писателем и редактором выстраиваются примерно так: «Технический юмор (Писатель и редактор)

- Здравствуйте! Вы юмористические рассказы печатаете?

- Печатаем, печатаем.

- Правда, юмор у меня, как бы это сказать, технический.

- Как - технический?

- Ну, я пишу с юмором о машинах.

- Только о машинах?

- Почти. А точнее - о фрезерных машинах.

- Только о фрезерных?!

- Ну, не совсем, а, собственно говоря, только о самих фреззах.

- Весь юмор о фреззах?!

- Ну, это я, конечно, преувеличил, а говоря по правде - только о кольцевых фреззах.

- Только о кольцевых?! Прекрасно!

- Да. Причем - только о тех, которые применяются в пилах.

18 - Только в пилах?! Это как раз то, что нам нужно на сегодняшний день.

- Да! Только в пилах и только в камнерезных.

- Потрясающе! Значит, вы занимаетесь юмором только кольцевых фрез камнерезных пил?

- Вот именно! Причем с шириной пропила - четыре сантиметра.

- А с... глубиной пропила?

- А с глубиной — сто двадцать.

- Не пойдет.

- Что, слишком мелкий пропил?

- Нет, слишком глубокий. Для нашего журнала.

- Но ведь такова действительность!

- Я понимаю. Но поймут ли другие?

- Да кто будет считать эти сантиметры?!

- Вы еще не знаете нашего читателя. Один-два сантиметра он, конечно, пропилит. Но глубже...

- Да что здесь пилить?! Это же известняк!

- Известняк?! В таком случае вы обратились не по адресу. Наш журнал называется "Проблемы затупления кольцевых фрез камнерезных пил при обработке гранита» [Мелихан].

Только пройдя нелегкий путь недоверия к своему тексту повествователь попадает на тропу писательства.

И, наконец, третье пространство. Это место встречи писателя и читателя. Книга выходит в свет. Тут то и рождается автор. Теперь ему противостоит читатель, перед которым он несет ответственность за свое создание. Поскольку нарративный мир добавляет некоторое количество персонажей, событий, ситуаций к миру реальному, можно предположить, что он объемнее, чем мир эмпирический. Вот за это расширение мира автор и отвечает: за уместность и своевременность написанного, за воздействие на читателей и за последствия этих воздействий. В этом смысле нарративный универсум не прекращает своего существования в последней строке текста, но расширяется до бесконечности. Автор попадает в коммуникативное пространство без границ. Пушкин об этом написал так:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал» [Памятник].

Автор, часто интуитивно, чувствует «свою» аудиторию, своих читателей, идеальных читателей с точки зрения автора. Старается их привлечь на свою сторону, помочь в понимании текста, оставить подольше в придуманном им мире. Текст задает ритм чтения, который то убыстряется, то замедляется в нужных для автора местах. Иногда, не рассчитывая на «образцового» читателя автор пишет отдельный трактат о том, как следует читать и понимать его произведения. Пример — «Философия творчества» Эдгара По.

Известно, что «паспортизация» текстов, как и критика текстов — явления более поздние. Последнее связано с рождением недоверия к тексту. В устном коллективном народном творчестве (фольклоре) категория автора лишена статуса персональной ответственности за поэтическое высказывание. Место автора текста заступал там исполнитель текста — певец, скази-

тель, рассказчик и т. п. Долгие века литературного и тем более долитературного творчества представление об авторе с разной степенью открытости и отчетливости включалось в универсальное, эзотерически осмысляемое понятие Божественного авторитета, пророческой поучительности, медиативности, освященной мудростью веков и традиций [Аверинцев, 1978, с. 28–30]. Постепенное возрастание личностного начала в словесности, едва заметное, но неотступное усиление роли авторской индивидуальности, начиная с античной культуры более отчетливо обнаруживает себя в эпоху Возрождения (творчество Боккаччо, Данте, Петрарки). Проявление непосредственных авторских интонаций в поэтической словесности обуславливается прежде всего ростом авторитета задушевно-лирических, сокровенно-личностных мотивов и сюжетов.

20 Авторское самосознание достигает апогея в эпоху расцвета романтического искусства, ориентированного на обостренное внимание к неповторимому и индивидуально-ценностному в человеке, в его творческих и нравственных исканиях, на живописание тайных движений, на воплощение мимолетных состояний, трудновыразимых переживаний человеческой души.

Автор в его внутритекстовом бытии в свою очередь рассматривается в широком и в более конкретном, частном значении.

В широком значении автор выступает как устроитель, воплощение и выразитель эмоционально-смысловой целостности, единства данного текста, как автор-творец. В сакральном смысле принято говорить о живом присутствии автора в самом творении.

Автор — «виновник» другой, искусственной реальности — внеположен ей. Но, создав текст, автор объективно теряет над ним власть, он не волен уже влиять на судьбу своего произведения, на его реальную жизнь в читающем мире.

Отношения автора, находящегося вне текста, и автора в тексте, отражаются в трудно поддающихся исчерпывающему описанию представлениях о субъективной и всеведущей авторской роли, авторском замысле, авторской концепции (идее, воле), обнаруживаемых в каждой «клеточке» повествования, в

каждой сюжетно-композиционной единице произведения, в каждой составляющей текста и в целом произведении. Создатель текста может занимать разные позиции как внутри создаваемого им мира, так и во вне его. Но как тот, так и дугой миры ставят свои барьеры и ограничения для творческой воли.

Известны признания многих авторов, связанные с тем, что литературные герои в процессе их создания начинают жить как бы самостоятельно, по неписанным законам собственной органики, обретают некую внутреннюю суверенность и поступают при этом вопреки изначальным авторским ожиданиям и предположениям. Л.Н. Толстой вспоминал (пример этот давно уже стал хрестоматийным), что Пушкин как-то одному из приятелей своих сознался: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна! Она — замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». И продолжал так: «То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется...» [Толстой, 1955, с. 231–232].

21

Субъективная авторская воля, выраженная во всей эстетической целостности произведения, повелевает неоднородно трактовать автора за текстом, признавая в нем в нераздельности и неслиянности эмпирико-бытовые и художественно-созидательные начала.

Мы попытались продемонстрировать отношения между создателем текста и самим текстом как отношения диалогические. В этом ракурсе, разработанном в семиотической парадигме анализа культуры, автор выступает игроком, сменяющим свои амплуа от одной сцены к другой. Но именно потому, что он сам исполняет все эти роли, мы и можем называть его автором. Только в своем триединстве эти роли образуют смысловую целостность текста. В этом и состоит, по словам У.Эко, утешительная функция литературы — сообщить форму, структуру хаосу человеческого опыта. «Проблема с реальным миром состоит в том, что с самой зари времен люди гадают, есть ли в нем смысл, и если да, то какой. Что же до вымышленных миров, мы знаем наверняка, что в них есть смысл, что авторская сущность присут-

ствуется вовне — как фигура создателя и внутри — как набор инструкций для чтения. Следовательно, наши искания образцового автора — это поиск эрзаца другого образа, образа Отца, он затерян в Дымке Бесконечности, и мы не перестаем гадать, что там: ничто или нечто» [Эко, 2003, с. 218–219].

Автор — это не физическое лицо. Хотя автор и может быть таковым. Автор — это текстовое понятие. Это характеристика человека по отношению к тексту. Отношения же эти динамичные и определяются коммуникативной культурой. Как писал М.М. Бахтин: «Собственно индивидуальностью автор становится лишь там, где мы относим к нему оформленный и созданный им индивидуальный мир героев или где он частично объективирован как рассказчик. Автор не может и не должен определиться для нас как лицо, ибо мы в нем, мы живаемся в его активное видение; и лишь по окончании художественного созерцания, то есть когда автор перестает активно руководить нашим видением, мы объективируем нашу пережитую под его руководством активность (наша активность есть его активность) в некое лицо, в индивидуальный лик автора, который мы часто охотно помещаем в созданный им мир героев. Но этот объективированный автор, переставший быть принципом видения и ставший предметом видения, отличен от автора — героя биографии (формы, научно достаточно беспринципной). <...> Автор должен быть прежде всего понят из события произведения как участник его, как авторитетный руководитель в нем читателя» [Бахтин, 1979, с. 180]. Автор — лишь один из участников текстового события.

22

Литература

Аверинцев С.С. Автор // Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти т. М., 1978. Т. 9.

Андроников И. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1975. С. 190.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

Булгаков М.А. Театральный роман // Булгаков М.А. Избранная проза. М.: ИХЛ, 1966 (с исправлениями по рукописи).

Контровский В. Издатель — враг писателя // <http://monfore.livejournal.com/83079.html>.

Мелихан К. Технический юмор // drink.nov.ru/avtor/melihan/melih_078.shtml.

Никитина Е.С. Текст в диалогах // Вопросы психолингвистики. 2011. №1(13). С. 140–151.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.: Правда, 1954.

Свифт Дж. Путешествия Гулливера / пер. с англ. под ред. А. А. Франковского // Свифт Дж. Сказка бочки. Путешествия Гулливера. М.: Правда, 1987.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т.: Т. 1. М.: Худож. лит. 1955.

Чуковский К. Вступление // Андроников И.Л. Рассказы литературоведа. М.: Детская Литература, 1973.

Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / пер. с англ. А. Глебовской. СПб.: «Симпозиум», 2003.

Юрий Зарецкий

Новые подходы
к изучению свидетельств о себе
в европейских исследованиях
последних лет

Хотелось бы начать с нескольких разъяснений. Первое из них — почему эта тема, а не другая, и зачем она.

24

Выбор, прежде всего, обусловлен моим интересом к автобиографическим текстам Средних веков и раннего Нового времени, исследованием которых я уже довольно давно занимаюсь. Вышло так, что в 2006–2011 гг. мне довелось принять участие в работе нескольких международных конференций, посвященных той же тематике, общаться с коллегами из разных стран, и этот недавний опыт естественным образом привел к необходимости попытаться понять, как изучают личные свидетельства мои коллеги в Германии, Нидерландах, Франции и других европейских странах. Поскольку у меня самого нет никаких сомнений в нужности и полезности попыток узнать, что делают наши зарубежные коллеги, я посчитал, что сделанные мною наблюдения на этот счет будут интересны и другим гуманитариям, занимающимся близкой проблематикой.

Еще одно разъяснение касается предмета анализа, обозначенного в названии как «европейские исследования». Здесь имеются в виду в первую очередь опубликованные в последние несколько лет сборники статей и коллективные монографии, посвященные «свидетельствам о себе». Кроме этого мною рассматривались программы исследовательских проектов, материалы конференций, документы веб-сайтов исследовательских центров. Важно еще отметить, что этот обзор не охватывает эмпирические исследования, т.е. работы, связанные с составлением архивных описей личных свидетельств, их текстологическим анализом и т.п. Совершенно необходимо также добавить, что важную роль в осмыслении всего этого материала сыграли мои

беседы с коллегами: Ариан Баггерман и Рудольфом Деккером (университет Эразмус, Роттердам), Бенигной фон Крузенштерн (Институт истории Общества Макса Планка, Геттинген), Филиппом Леженом (в настоящее время главой созданной им АРА — Association pour l'autobiographie), Франсуа-Жозефом Рутгье (университет Париж IV), Клаудией Ульбрих (Свободный университет, Берлин) и другими.

Материал в этой статье будет изложен довольно однообразно. Сначала в ней обозначается та или иная проблема, существующая в изучении свидетельств о себе, затем идет краткий экскурс в прошлое (т.е. как она понималась раньше), после чего следует более подробное изложение того, какие новые ее трактовки появились.

Первая из этих проблем — обозначения свидетельств о себе. Раньше историки заимствовали понятийный аппарат из литературоведения. Своими источниками они называли автобиографии, мемуары, дневники, т.е. так же, как историки и теоретики литературы обозначали жанры. Примерно с 1980-х гг. ситуация стала меняться. Историки все чаще стали обращать внимание на то, что в некоторых случаях жанровые обозначения плохо «работают», в частности, когда их применяют к личным свидетельствам, созданным до XVIII–XIX вв. Ими стали предприниматься попытки изобрести новые понятия, более адекватно отражающие исторические особенности личностных источников. Примечательно, что это изобретение велось внутри каждой национальной историографической традиции более-менее обособлено. Это, впрочем, не помешало тому, что внутри каждой из этих традиций появились и более-менее благополучно сосуществуют конкурирующие понятия (что, помимо собственно научной конкуренции, связано с различной институциональной принадлежностью исследователей, системой выделения исследовательских грантов и проч.).

Эгодокумент (egodocument) — наиболее известное из понятий, призванных заменить привычные обозначения литературных жанров, появилось в Нидерландах и вскоре завоевало

известность среди историков других европейских стран: Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании. Его придумал и предпринял попытку ввести в научный оборот Жак Прессер еще в середине 1950-х (см.: [Dekker, 2002, p. 13–37]), с тем, чтобы объединить такие типы личных свидетельств как автобиографии, мемуары, дневники, письма личного характера и др. Прессер дал и определение того, что он считал «эгодокументом». В его представлении, это «те исторические источники, в которых исследователь сталкивается с “я” — или иногда (Цезарь, Генри Адамс) “он” — как одновременно пишущим и постоянно присутствующим в тексте субъектом описания» [Dekker, 2002, p. 14].

26 Нужно заметить, что в то время неологизм Прессера не получил поддержки его коллег, однако в 1980-е гг. оно оказалось настолько востребованным, что вошло в нормативный словарь голландского языка, и сегодня оно активно используется в нидерландской историографии. Рудольф Деккер, один из главных его адептов, считает эгодокументом (он сам называет это упрощенным определением) «текст, в котором автор пишет о его или ее делах, мыслях и чувствах» [Dekker, 2002, p. 14]. В другом месте Деккер добавляет, что «эгодокументы включают автобиографии, мемуары, дневники и другие личные тексты, в которых авторы подробно пишут о своих делах, опыте, мыслях и чувствах» [Dekker, 1999, p. 255].

В англоязычном мире понятие ego-document употребляется фактически в том же смысле, что и в Нидерландах. Одним из пионеров его использования здесь был Питер Берк, в статье «Репрезентации Я от Петрарки до Декарта» подчеркивавший важность эгодокументов для изучения личности в истории и современных дискуссий об истории индивидуализма [Burke, 1997, p. 21–22]. Оно также хорошо известно в германоязычной историографии (Ego-Documente) и франкоязычной истории литературы (egodocument). Впрочем, в каждом случае смысловое наполнение понятия имеет свою специфику. Во Франции, например, оно нередко ассоциируется со вполне конкретной «суммой» жанров национальной литературы XVII–XIX вв.: писем, дневников (*journaux intimes*), путевых заметок (*relations de voyage*), *livres de raison*, мемуаров (*mémoires*), и его употребление

обычно обходится без специального теоретизирования¹. В Германии, напротив, осмысление того, что следует понимать под «эгодокументом» в 1990-е гг. вылилось в оживленную дискуссию историков.

Вкратце суть ее можно изложить следующим образом. В начале 1990-х попытку перенести голландский неологизм на немецкую «землю» предпринял Винфред Шульце. На организованной им в 1992 г. междисциплинарной конференции по изучению личных свидетельств он изложил свою расширительную интерпретацию того, что следует считать эгодокументами. Помимо тех видов текстов, о которых говорили Прессер и Деккер, Шульце предложил отнести к этой категории и те тексты, которые писались по требованию административных, судебных или финансовых органов (например, прошения или протоколы допросов), если только в них, как он говорил, можно «услышать» голос человека, рассказывающего о себе. Такая расширительная трактовка понятия «эгодокумент», по мнению Шульце, могла бы предоставить историкам доступ к ранее «молчаливым» группам людей и дать хотя бы частичные свидетельства их самовосприятия (см.: [Ego-Dokumente, 1996, s. 28], [Dawson, Majerhofer, 2004]). Позиция Шульце, однако, встретила в Германии немало критических замечаний, поскольку, по мнению целого ряда исследователей, расширительная трактовка понятия оказывается неэффективной для исторического исследования. Во-первых, она ведет к размыванию смысла: эгодокументом становится едва ли не любое свидетельство о прошлом. Во-вторых, ситуативный характер отдельных разнородных свидетельств человека, которые Шульце обозначал единым понятием, обычно мало способствует пониманию его индивидуальной личности.

Несмотря на свою очевидную популярность — не только в Нидерландах, но и в международном сообществе историков в

¹ См. напр. в исследовательском проекте «Ego-documents électroniques: Correspondances, journaux intimes, relations de voyage, livres de raison, mémoires (XVIIe-XIXe siècles)» — <http://egodoc.revues.org/>.

целом² — и определенную инструментальную эффективность, проверенную годами, понятие «эгодокумент», тем не менее, не обходится без критики. Во-первых, в связи с неоправданностью, как считают некоторые, его фрейдистских коннотаций: личные документы позднего Средневековья и раннего Нового времени в большинстве своем не содержат углубленной саморефлексии авторов и потому мало напоминают рассказы о внутреннем мире современного человека, которые в психоанализе связываются с понятием «эго». Во-вторых, в связи с его неясной корреляцией с литературными жанрами, традиционно понимаемыми как личностные: включает ли понятие «эгодокумент» все жанры, в которых авторы рассказывают о себе или только те, которые упоминаются в определениях Жака Прессера и Рудольфа Деккера? Наконец, в связи с тем, что постструктуралистская критика поставила под сомнение не только возможность обнаружения в тексте авторского «я», но и само существование этого «я» за пределами текста (см.: [Dawson, Majerhofer, 2003, p. 467–468], а также рецензию: [Perreault, 2003, p. 467–468]).

В 1990-е гг. немецкими историками, исследующими документы личного характера, в ходе полемики между Винфредом Шульце и его оппонентами было введено в научный оборот новое понятие — «свидетельство о себе» (Selbstzeugnis). Произошло это в значительной мере благодаря небольшой теоретической статье Бенигны фон Крузенштерн с выразительным названием: «Что такое свидетельства о себе?» [Krusenstjern, 1994, S. 462–471], опубликованной в 1994 г. Немецкая исследовательница, занимавшаяся в то время изучением личных документов времен Тридцатилетней войны, попыталась обозначить, что именно интересует историка в разного рода документах, написанных от первого лица, и как этот интерес соотносится с общей формой (жанром) документа. Она, в частности, утверждала, что вопрос о том, является ли личное письмо того или иного человека «свидетельством о себе», не имеет большого смысла, если мы не знаем о его содержании. Ведь в самом письме могут присут-

² Помимо сказанного выше см. тему цикла международных научных конференций, проводимых с 2005 г. Институтом русистики Варшавского университета: «Эго-документ и литература».

ствовать как разнообразные «посторонние» сведения (о погоде, политических событиях, видах на урожай и т.п.), малоинтересные историку, пытающемуся разглядеть личность человека прошлого, так и то, ради чего, собственно, он ведет поиск — события индивидуальной биографии, размышления о жизни, описания собственных переживаний, раздумий и т.п. Именно это личное, говорящее о человеке в письме (но не оно само) и является, согласно Крузенштерн, «свидетельством о себе».

С конца 1990-х понятие *Selbstzeugnis* постепенно стало вытеснять шульцевское *Ego-Documente*. Его стали все шире использовать историки культуры и исследователи личных документов, оно органично вписалось в немецкие исследовательские проекты, в частности проект Берлинского свободного университета (о нем подробно речь дальше) и немецкоязычный швейцарский в университете Базеля³. Однако за пределами немецкоязычного мира «свидетельство о себе» оказалось мало востребованным.

Во Франции в последние два десятилетия вошло в научный оборот новое понятие — труднопереводимое *les écrits du for privé* (сочинения о собственной душе?), впервые использованное в 1980-е гг. Мадлен Фуазиль в третьем томе «Истории частной жизни», вышедшей под редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Написанный ею раздел назывался «*l'écriture du for privé*» [Foisil, 1986, p. 331–369.] (в английском переводе — «*the literature of intimacy*»). Понятие оказалось востребованным в 1990-е гг. в ряде французских изданий и стало ключевым для проектов Жан-Пьера Барде и Франсуа-Жозефа Руггье в следующем десятилетии⁴. В связи с его употреблением можно отметить два момента. Первый — *écrits du for privé* понимается более широко, чем *ego-documents*, понятие, также используемое французскими исследователями⁵; второй — отсутствие стремления французских исследователей придать этому термину научную строгость, дать более-менее четкое его определение и вообще

³ См.: <http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch/>

⁴ См.: [Au plus près du secret des coeurs, 2005], [Les écrits du for privé, 2007], а также материалы на сайте: <http://www.ecritsduforprive.fr/>

⁵ См. напр. <http://egodoc.revues.org/>

теоретизировать по поводу используемой ими терминологии (как в Германии, например).

В англоязычном мире, помимо понятия *egodocument*, историками и литературными критиками широко используется и другое, более общее, включающее как «автобиографии», так и «биографии» — *life-writing* (жизнеописание). Употребление этого термина было недавно закреплено в концепции двухтомной «Энциклопедии жизнеописаний» [Encyclopedia, 2001]. В некоторых случаях англоязычные историки используют также такие понятия, как «свидетельство о себе» (*self-testimony*, калька с немецкого *Selbstzeugnis*) и заимствованное из лексикона литературных критиков «рассказ о себе» (*self-narrative*). Кроме названных, европейскими историками используется и обозначение, указывающее в первую очередь на формальный признак текста: *first person writings*, «сочинения от первого лица»⁶.

30 Вторая проблема — объект исследований. Если раньше историки обращались почти исключительно к творениям «великих людей» (Петрарка, Руссо, Гете) и «вершинам» мемуарно-автобиографического жанра (хорошо всем знакомый подход в русле *Kulturgeschichte*), то теперь их интерес сместился к массовым явлениям, свидетельствам о себе «простых людей».

Примером такого интереса может служить голландский проект Рудольфа Деккера 1990-х гг. «Эгодокументы в Нидерландах XVI–XIX вв.». Работа над ним началась с поиска и описания более тысячи документов в библиотеках и архивах, относящихся к периоду с 1500 по 1814 гг. На следующем этапе исследований был предпринят анализ этого корпуса текстов, в ходе которого историк поставил задачу обозначить развитие форм эгодокументов, их географию, физический вид (записи в специальных тетрадях/книгах, заметки на полях рукописей, на отдельных листках и пр.), язык (или языки), стиль, социальный статус их авторов, заявленные в них мотивы создания и адресаты сочинений [Dekker, 1999, p. 255]. При этом понятие «эгодо-

⁶ См. напр.: <http://www.firstpersonwritings.eu/index.htm>

кумент» не соотносилось с такими жанрами, как «автобиография» или «дневник», поскольку в XVI–XVIII вв. в Нидерландах соответствующие жанры еще только складывались. Следует добавить, что из поля зрения историка были исключены письма — преимущественно из практических соображений: во-первых, из-за их многочисленности, во-вторых, из-за того, что частично работа по каталогизации писем ко времени начала проекта уже велась в рамках другой программы [Dekker, 1999, p. 257].

В итоге удалось выявить 1121 документ, причем количество текстов за десятилетие с 1800 по 1810 гг. оказалось равным количеству текстов за весь XVI в. Исследователь также обратил внимание на стремительное увеличение числа эгодокументов начиная с 1780 г. и попытался дать объяснение этому феномену. Первой причиной Р. Деккером был назван очевидный «материальный фактор» — чем ближе к нам по времени, тем больше шансов на то, что документ сохранится. Однако историка, разумеется, интересуют и другие причины, не столь очевидные. Из этих других Деккер выделяет: а) общий рост грамотности и в целом значения письменности в жизни людей и б) некоторые конкретные изменения в культуре, способствовавшие производству эгодокументов. Среди этих культурных изменений в качестве особенно очевидных он называет новые импульсы к интроспекции, исходящие из протестантской среды: голландские пасторы начинают рекомендовать своим прихожанам вести дневники с целью самоконтроля [Dekker, 1999, p. 259].

Что касается формальных физических характеристик выявленных документов, то они оказались чрезвычайно разнообразными: небрежными авторскими автографами, аккуратными рукописями, скопированными с оригинала кем-то из современников или потомков, и даже просто собранными вместе обрывками бумаги. В качестве примера именно этого рода Деккер приводит дневник одного утрехтского аптекаря за 1793–1816 гг., сохранившийся на 2000 листках оберточной бумаги, использовавшейся для упаковки стеклянных пузырьков [Dekker, 1999, p. 260].

Несмотря на исходный тезис проекта об отсутствии четкой жанровой структурированности эгодокументов в рассматриваем-

мый период, «из соображений целесообразности» их жанровая классификация в исследовании все же дается. Согласно ей такие наиболее «личностные» жанры, как автобиографии и мемуары составляют лишь около одной пятой всего корпуса текстов. Причем, несмотря на их огромное формальное разнообразие, в рассказах авторов о себе, как утверждает Деккер, можно обнаружить некоторые «закономерности». Например, то, что наиболее ранние автобиографии часто написаны учеными, заимствовавшими нарративные модели в античных жизнеописаниях философов, или что пиетистские автобиографии в большинстве случаев оказываются историями обращения в веру и повторяют набор однотипных сюжетов, среди которых центральное место занимает «второе обращение» [Dekker, 1999, p. 263].

32 Особое внимание в проекте было уделено вопросу о мотивах создания эгодокументов. Как они обозначаются в текстах авторами? И как изменяются эти обозначения во времени? Исследователем была проанализирована 151 декларация о мотивах и в итоге сделан вывод: подавляющее большинство авторов свидетельствуют, что они стали писать воспоминания, дабы сохранить память о событиях прошлого. Примерно в одной пятой из подобных заявлений сказано, что эти воспоминания записаны исключительно для самого их автора и не предназначаются для постороннего чтения. Также примерно пятая часть — но теперь уже всего корпуса выявленных эгодокументов — содержит ясные указания на религиозные мотивы их написания. При этом, как специально отмечает Р. Деккером, со второй половины XVIII в. в них со всевозрастающей определенностью начинает прочитываться ранее редкий мотив: стремление авторов к самоанализу [Dekker, 1999, p. 270–272].

Осуществление проекта по созданию инвентаря эгодокументов с 1500 по 1814 гг. и предварительный их анализ дали мощный импульс изучению «рассказов о себе» в Нидерландах⁷. Его результаты нашли отражение в целой серии научных публи-

⁷ См. напр. исследование Р. Деккера о детстве, основанное на автобиографических свидетельствах: [Dekker, 1999] (перевод с изд.: [Dekker, 1995]).

каций⁸, но, главное, документы, ранее разбросанные по различным архивам, библиотекам и музеям страны, теперь оказались более доступны исследователям. 24 из этих документов были опубликованы в специальной серии *Egodocumenten* издательства Verloren (Hilversum)⁹, началась работа по составлению инвентаря эгодокументов за 1814–1914 гг. (руководитель проекта Ханс де Фальк)¹⁰, а затем и над другими проектами по изучению личных свидетельств раннего Нового и Нового времени.

Третья проблема, наиболее важная, связана с «метапозицией» исследователя, анализирующего личные свидетельства. Прежде всего, тут нужно заметить, что раньше ее существования не замечали. Считалось, что работа историка — чисто эмпирическая: ему нужно «просто» («объективно», «непредвзято») смотреть на автобиографические тексты и, так или иначе, извлекать из них сведения о прошлом. При этом не обращалось внимания на то, что взгляд на автобиографические тексты, считавшийся объективным и непредвзятым, таковым, в сущности, не являлся, поскольку был, помимо прочего, изначально обусловлен общими представлениями исследователей о характере исторического развития (это общее представление и обозначается в данном случае как «метапозиция»).

33

В отношении истории личных свидетельств эти общие представления были заданы восходящей к Я. Буркхардту модели «открытия индивида», согласно которой современный индивидуалистический тип личности впервые появился на Западе в эпоху Возрождения, и это его появление сопровождалось ростом интроспекции, свидетельством которой являются автобиографии и биографии. Обнаружение этой латентно присутствующей в большинстве историй автобиографии модели повлекло за

⁸ Они отражены в библиографии, составленной Р. Деккером (доведена до 2004 г.) и размещенной на сайте <http://www.egodocument.net>.

⁹ См. список на сайте изд-ва: <http://www.verloren.nl>.

¹⁰ См.: <http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Egodocumenten/en/index.html>

собой ее критику и поиски новых перспектив анализа личных свидетельств в исторической перспективе.

34 В частности, вместо перспективы «открытия индивида» стали предлагаться иные объяснения роста количества личных свидетельств по мере приближения к современности. Примером переосмысления традиционной перспективы может служить проект голландской исследовательницы Арианн Баггерман «Контроль времени и формирование Я: образование, интроспекция и практики письма в Нидерландах 1750–1914 гг.»¹¹. Отличительные его особенности — солидная теоретическая фундаментальность, новизна исследовательских вопросов и междисциплинарный характер (использование подходов, применяющихся в истории культуры, истории ментальностей, литературоведении, истории педагогики, истории книги). В содержательном плане проект состоит из трех конкретных исследований: «Ведение дневника и контроль времени как новый педагогический инструмент», «Изменения в восприятии времени и осмысление человеком истории», «Коммерциализация автобиографического письма». Их главная общая проблема — выявление причин роста числа дневников, автобиографий и других эгодокументов в Нидерландах в XIX в.

Традиционно этот рост историки связывали с такими глобальными процессами в европейской культуре как усиление интроспекции и стремления человека к самопознанию. Сегодня, однако, многим стало ясно, что этот взгляд основывается на рассмотрении ограниченного круга текстов, принадлежащих великим писателям, таким как Руссо или Гете, и что изучение эгодокументов *en masse* может нарисовать иную картину. Гипотеза, сформулированная в проекте, и его первые предварительные результаты подтверждают такую возможность.

¹¹ См.: <http://www.egodocument.net/Arianne.htm>. Институционально исследование базируется на факультете истории и искусств университета Эразма (Роттердам), его участники тесно сотрудничают также с Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Гаага) и Институтом Хейзинги (Амстердам). Установлены также международные связи с исследователями Max Planck Institut für Geschichte (Göttingen); Universität Basel; Freie Universität Berlin и др.

Баггерман обратила внимание на одну особенность, позволяющую усомниться в распространенном мнении о связи между ростом стремления к самопознанию и ростом количества эгодокументов. По ее наблюдениям, число дневников чисто фактографического характера и, если можно так выразиться, «безличных» мемуаров в Голландии XIX в. росло гораздо быстрее, чем число личных текстов, содержащих авторскую интроспекцию. Это обстоятельство позволило ей предложить новое объяснение причин роста, связав его с беспрецедентной в истории попыткой европейцев овладеть темпоральностью и с их возрастающим стремлением контролировать событийность¹².

Не отвергая полностью возможную связь между усилением интроспекции и массовым производством личных свидетельств, проект все же в первую очередь рассматривает это производство в связи с переменами в восприятии европейским обществом времени вообще и хода истории в частности. В особенности в связи с новым пониманием будущего как чего-то зависящего от человеческой деятельности. Соответственно, главный исследовательский вопрос в проекте формулируется следующим образом: в какой мере и как именно специфическое содержание и формы эгодокументов, а также рост их числа на протяжении «долгого XIX в.» были связаны с новым чувством времени? А. Баггерман высказывает в этой связи предположение, что главным мотивом авторов автобиографических сочинений девятнадцатого века было стремление к контролю событий во времени, а не рассказ о себе и собственной личности: о последнем они говорили «нечаянно» (inadvertently)¹³.

Рост числа и изменение форм эгодокументов в проекте рассматриваются также в связи с двумя другими важными культурными изменениями, имевшими место около 1750 г. Первое — революции в чтении, письме и издательской деятельности; второе — рождение современной педагогики. Подход к изучению личных свидетельств с учетом обозначенных векторов перемен в

¹² Теоретическим основанием для такого объяснения для Баггерман служат работы Рейнхардта Козеллека и Питера Гея: [Koselleck, 1979], [Gay, 1995].

¹³ <http://www.egodocument.net/Arianne.htm>.

культуре XIX в., по мнению А. Баггерман, позволит также внести вклад в обсуждение более общей проблемы истории европейской культуры — истории индивида (или «истории индивидуализации»)¹⁴.

В проекте Берлинского свободного университета Клаудии Ульбрих и Габриэлы Янке¹⁵, предлагается вообще отказаться от европоцентристского взгляда на историю автобиографии. Главная его идея состоит в том, чтобы рассматривать различные свидетельства о себе в соответствующих историко-культурных контекстах, а их создание — как особую форму человеческой деятельности, практиковавшуюся в разные периоды истории в различных культурах: как специфический способ коммуникации и действия в социуме. «Свидетельства о себе», таким образом, являются в нем одним из видов социальных и культурных практик.

36 Транскультурная перспектива проекта, по мнению его инициаторов, даст возможность увидеть, как индивидуальная жизнь человека превращалась в письменный рассказ в различные эпохи и в различных частях мира. Она призвана бросить вызов традиционному подходу, согласно которому личные документы соотносятся с понятием «индивидуальность» и рассматриваются в парадигме «развития индивидуализма». Такой подход, как считает Г. Янке, дает искаженную картину неевропейских культур, сводя обсуждение вопроса к их «недостаткам» и «отставанию в развитии». Исследовательница выражает надежду, что предложенный в проекте новый ракурс анализа сможет «открыть пути осмысления различных возможностей описания Я как в европейских, так и в неевропейских эгодокументах, и тем самым внести вклад в не-европоцентристское и не-модернистское понимание культур» [Jancke, 2002].

Дальнейшая работа над проектом позволила конкретизировать его цели и задачи. Первым ее значительным результатом

¹⁴ А. Баггерман в качестве своей теоретической опоры ссылается на работы американских исследователей: М. Масуха (см.: [Mascuch, 1997]) и Н. Земон-Дэвис (см.: [Davis, 1986.] p. 53–63).

¹⁵ Материалы проекта см. на сайте: <http://www.fu-berlin.de/dfg-fg/fg530/index.html>

стал сборник статей «От индивида к личности: Новые концепты в области теории автобиографии и изучения свидетельств о себе». Его название, по-видимому, нуждается в специальном разъяснении для русского читателя, в особенности знакомого с работами Л.М. Баткина и дискуссиями об индивидуальности и личности в истории на страницах «Одиссея», где противопоставлялись и сопригались понятия «индивидуальность» и «личность»¹⁶. В представлении немецких исследователей словосочетание «от индивида к личности» говорит вовсе не о переходе от одного к другому и вообще относится не к индивиду как таковому, а к повороту в направлении исследований его истории.

«Чтобы освободиться от скрытого балласта допущений, которые несут в себе понятия индивид, Я и субъект, — пишут в предисловии Ульбрих и Янке, — мы решили в этом сборнике работать с понятием личность, относительно свободным в историческом исследовании. Наша цель, таким образом, — не историзация понятий индивидуальности..., а коренное изменение принципа исследования [Forschungsdesign]. По существу, речь идет о претензии на то, чтобы в первую очередь раскрыть содержание свидетельств о себе в их собственных контекстах и о стремлении избежать директивных установок [Engfuehrungen], которые, например, несет с собой отсыл к буркхардтовскому понятию рождения индивида». Одна из возможностей сделать это, полагают исследователи, «состоит в том, чтобы перенести взгляд с индивида на отношения, как это требуется и в постмодернистских исследованиях автобиографий. Если отказаться от вопроса об индивиде как о точке отсчета, изменятся вопросы, а вместе с этим и ответы» [Vom Individuum zur Person, 2005, S. 16–17].

Важное направление программы Ульбрих и Янке — выработка транскультурной перспективы анализа личных свидетельств. «Ученые, — пишут они, — долгое время считали “автобиографию” специфически западным жанром и соотносили ее со специфически западными представлениями об “индивидуаль-

¹⁶ Согласно мнению, отстаивавшемуся в этой дискуссии Баткиным, «личность» — феномен Нового времени; согласно мнению его главного оппонента, А.Я. Гуревича, «личность» — в определенном смысле феномен вневременной — [Индивидуальность и личность, 1990, с. 6–89].

ности” или “универсальной” абстрактной личности. Такого рода формулировки тяготеют к представлению о модернизации как о процессе рождения автономного индивида с одной стороны и рыночного капитализма с другой. Современная наука, рассматривающая автобиографии как рассказы о себе и оценивающая их в свете новых проблем и новых методологий, показала неадекватность этих специфически западных понятий. В результате исторические исследования рассказов о себе выработали ряд новых подходов к этим источникам, рассматривающих в качестве аналитического фокуса пишущего субъекта как активного действующего лица в контексте ее или его социальных и культурных отношений»¹⁷.

38 Что касается неевропейских культур, авторы отмечают, что изучение рассказов о себе в них «находится на начальной стадии, однако стремительно приобретает все большее и большее значение»¹⁸. Однако созданная ими междисциплинарная исследовательская группа, объединяющая усилия ученых, чьи исследования пересекают границы Европы и включают Ближний Восток, Дальний Восток и другие регионы, как раз и призвана выработать принципиально новые подходы к личным свидетельствам:

«Задача настоящей исследовательской группы — тематизация “рассказа о собственной жизни” в разных культурах, в разные периоды, в разных регионах и в разных контекстах. Помещая автобиографические сочинения в контекст социальных отношений, в которых находились их создатели, можно понять их как социальную и культурную практику. Такого рода исследование должно разрушить укоренившееся представление — особенно известное применительно к Западу, но также часто применяемое по отношению к другим культурам, — что развитие индивидуальности и автобиографии тесно связаны и взаимозависимы. Это ошибочное представление должно уступить место открытой встрече с конкретным понятием “личность”, как оно формулируется в каждом рассказе о себе»¹⁹.

¹⁷ <http://www.fu-berlin.de/dfg-fg/fg530/>

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Если попытаться как-то подытожить работу, уже проделанную в рамках этого проекта Берлинского свободного университета, нельзя не отметить ее безусловную значимость в сегодняшнем «поле» изучения эгодокументов — как в смысле масштабности, смелости постановки вопросов, так и теоретической фундированности. С другой стороны, трудно не обратить внимания на некоторые вопросы, остающиеся без ответов. Главный из них — действительно ли эта программа открывает новые перспективы изучения личных свидетельств? Не являются ли те эпистемологические трудности, о которых размышляют Ульбрих и Янке, не специфическими для изучения эгодокументов, а общими для современного гуманитарного знания? Соответственно, в какой мере возможно сегодня реализовать проект «межкультурного» изучения личности? И в целом, имеется ли сегодня реальная возможность писать историю индивида/личности (как и историю вообще), не основываясь на традиционных эпистемологических предпосылках, а как-то принципиально иначе?²⁰

39

Литература

Индивидуальность и личность в истории. Дискуссия // Одиссей 1990. М. 1990. С. 6–89.

Au plus près du secret des coeurs? Nouvelles lectures historiques des écrits du for privé en Europe du XVIe au XVIIIe siècle / Ed. J.-P. Bardet, F.-J. Ruggiu. P., 2005.

Burke P. Representations of the self from Petrarch to Descartes // Rewriting the self: histories from the Middle Ages to the present / Ed. R. Porter. L., 1997.

²⁰ Последним на сегодняшний день изданием, вышедшим в рамках этого исследовательского проекта, стала коллективная монография «Пространство Я: Транскультурное изучение свидетельств о себе» (см.: [Räume des Selbst, 2007]). В ней предпринята попытка анализа личных свидетельств, принадлежащих как к европейским, так и к неевропейским культурам, с помощью категории «пространство».

Davis N.Z. Boundaries and the Sense of Self in Sixteenth-Century France // *Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality and the Self in Western Thought* / Ed. T.C. Heller, et al. Stanford, 1986. P. 53–63.

Dawson R, Maierhofer W. German rediscovery of life writing: introduction to essays on German-speaking women as rulers, consorts, and royal mistresses in the Long Eighteenth Century // *Biography*. 2004. No.3.

Dekker R.M. Childhood, Memory and Autobiography in Holland from Golden Age to Romanticism. L., 1999.

Dekker R.M. Egodocuments in the Netherlands from the sixteenth to the nineteenth century // *Envisioning Self and Status. Self-representation in the Low Countries. 1400–1700* / Ed. E. Griffey. Hull, 1999.

Dekker R.M. Jacques Presser's heritage. Egodocuments in the study of history // *Memoria y Civilización. Anuario de Historia*. 2002. No 5.

40 *Dekker R.M.* Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Amsterdam, 1995.

Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte / Hg. W. Schulze (= *Selbstzeugnisse der Neuzeit 2*). Berlin 1996. S. 28.

Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms / Ed. M. Jolly. 2 vols. L.; Chicago, 2001.

Foisil M. L'écriture du for privé // *Histoire de la vie privée*. T. 3: De la Renaissance aux Lumières. P., 1986. P. 331–369.

Gay P. The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. 5 vols. NY, 1984–1998. Vol. 4: *The Naked Heart* (1995).

Jancke G. History of the Research Group “Self-Narratives in Transcultural Perspective” // *Zeitenblicke*. 2002. No 1–2 [www.zeitenblicke.historicum.net].

Koselleck R. *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt a/M., 1979;

Krusenstjern B. von: Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus

dem 17. Jahrhundert // Historische Anthropologie. Kultur. Gesellschaft. Alltag. Köln, 1994. Heft 2. S. 462–471.

Les écrits du for privé: Objets matériels, objets édités. Actes du colloque de Limoges 17 et 18 novembre 2005 / Ed. J.-P. Bardet, F.-J. Ruggiu. Limoges, 2007.

Mascuch M. Origins of the Individualist Self. Autobiography and Self-Identity in England, 1591–1791. Cambridge, 1997.

Perreault J.M. Egodocuments and History: Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages // Biography. 2003. No 3. P. 467–468.

Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell / Hrsg. A. Bähr, P. Burschel, G. Jancke. Köln, 2007.

Vom Individuum zur Person. Neue Konzepte im Spannungsfeld von Autobiographietheorie und Selbstzeugnisforschung / Hrsg. G. Jancke, Cl. Ulbrich (= Querelles. Jahrbuch für Frauen- und Geschlechterforschung 10). Göttingen, 2005.

Вадим Менжулин

Биография философа:
изучать нельзя не изучать

Про этого писателя говорят, что он писал рассказы и драматические произведения исключительно по ночам. День он оставлял для других занятий. Защитил докторскую диссертацию на тему «Электронная книга — структура и маркетинг». ... В интервью газете «Дер гроене Амстердамер» он сказал, что у него нет биографии, одна лишь библиография. В любую поездку брал с собой собственную подушку. Умер в 2009 году, не дождавшись осуществления своей мечты об электронной книге, которая бы заменила ту, ради которой на планете вырублены леса.

*Милорад Павич*¹

Широко распространено мнение, согласно которому академическая история философии должна сосредоточиться на идеях философов, тогда как их биографиями надлежит заниматься скорее беллетристам [Morigliano, 1971, p. 1]. В таком духе высказывались многие влиятельные мыслители (в частности, Г. Гегель, М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн, М. Фуко и др.). Однако опыт конкретных историко-философских исследований дает основания предположить, что подобный «философский антибио-

¹ [Павич, 2009, с. 230]

графизм» требует, как минимум, существенной коррекции. Например, в аналитической философии, которую издавна принято считать принципиально отстраненной от всего индивидуально-биографического, в 1990-е годы начались процессы, которые можно квалифицировать как *биографический поворот* [Critchley, 2001, p. 60]. Аналогичные тенденции наблюдаются в России, где в последние годы появился целый ряд работ, в которых уделяется значительное внимание биографической составляющей истории философии², а одна из них [Авто-био-графия, 2001] стала, по словам ее рецензента, символом *эскалации биографизма* [Пезин, 2002]. Усиление интереса к биографической составляющей истории философии наблюдается в последнее время и в Украине (подробнее об этом: [Менжулін, 2010, с. 367–380]).

Вообще-то, провозглашение «биографического поворота» или «эскалации биографизма» непосредственно в философии является отражением более масштабных процессов. В наши дни биографистика становится не просто одной из доминирующих тем во всех СМИ, а и одним из символов развития демократии [Hamilton, 2007, p. 1–2]³. Совершенно естественно, что в большинстве социогуманитарных сфер (литература, психология, социология, политика, искусство, журналистика) биографический бум начался еще в 1970–1980-е годы [Голубович, 2008, с. 3]. Вместе с тем уже упомянутая мощная традиция философского и историко-философского антибиографизма нашла проявление не только в том, что в аналитической философии аналогичные процессы начались позднее, а и в том, что даже и сейчас легитимации и дальнейшему развитию историко-философской биографистики, как в англо-американской, так и в континентальной философии, препятствуют два представления: а) согласно кото-

² Под биографической составляющей мы имеем в виду как биографические элементы историко-философского процесса, так и биографические аспекты историко-философского познания.

³ Похоже, эту тенденцию предчувствовал еще Сталин, который, как вспоминал после его смерти режиссер Александр Довженко, «приказал когда-то запретить на экране показ личного, частного в жизни великих людей. Нам, как говорится, интересна только научно-общественная сторона жизни человека» [Цалик, 2011, с. 11].

рому учение философа является абсолютно автономным от его жизни и потому должно рассматриваться отдельно от нее (компарментализм); б) согласно с которым в биографии философа содержится ключ к пониманию его учения и потому последнее следует рассматривать исключительно сквозь призму биографических факторов (редукционизм) (это различие проведено в: [Conant, 2001]).

44 Придание чрезмерного значения психобиологическим или социально-политическим аспектам жизни человека создает предпосылки для формирования таких моделей биографического редукционизма, которые близки к разным вариантам философии подозрения (прежде всего — психоанализ и марксизм). Их распространение в XX ст. является логическим продолжением попыток создания и повсеместного использования универсального «биографического метода», мода на который охватила европейскую биографистику еще в середине XIX ст. с легкой руки Ш.-О. де Сент-Бева [Валевский, 1993, с. 77–78]. Пытаясь объяснить деятельность философа влиянием определенных нефилософских факторов, биографы-редукционисты игнорируют не только «добавленную стоимость, которую производит гений как таковой»⁴, но и такую фундаментальную черту философии, как стремление к абсолютной самодостаточности, и тем самым способствуют расцвету компарменталистских настроений.

Однако компарментализм сам оказывается достаточно сомнительной альтернативой, ибо он основывается на восприятии философии как чисто теоретической активности, т.е. апеллирует к такому ее образу, который никак не может считаться абсолютным и окончательным. Например, в античности отрыв учения от жизни ассоциировался, прежде всего, с софистикой, но большинство философов образцом для подражания избрали отнюдь не софистов, а их главного оппонента — такого решительного борца за единство слова и дела, учения и жизни, как

⁴ Приоритетным интересом к этой «добавленной стоимости» объяснил свое нежелание воспользоваться фрейдистским подходом при изучении жизни и деятельности М. Кейнса его современный британский биограф, получивший за свою книгу о выдающемся экономисте и философе титул пэра [Скидельски, 2005, с. 4, 29–30].

Сократ. Именно благодаря его образу биография философа стала одним из популярнейших субжанров античной литературы. Однако, работая в условиях достаточно жесткой конкуренции школ, античные биографы активно использовали жизни своих героев как инструмент в борьбе за признание или, наоборот, дискредитацию их учений. вследствие этого факты решительно смешивались с фантазиями, а оценки колебались от абсолютно одобрения (когда речь шла о собственных кумирах) до полного осуждения (в случае с представителями враждебного лагеря) [Momigliano, 1971, p. 46–47, 84]. В Средние века, когда такая конкуренция значительно ослабла, потребность в биографиях философов практически исчезла, и их место заняли довольно однообразные агиографические жития святых [The rhetorics of life-writing, 1995, p. 11]. Возрождение интереса философов к биографиям, имевшее место в эпоху Ренессанса [Hampton, 1990, p. 1–26], было недолгим: с приходом Нового времени философия пережила новую мощнейшую волну деперсонализации [Адо, 2005, с. 62–63]. Однако в XIX–XX ст. по мере развития капитализма и индивидуализма на историко-философской арене вновь появляется живой философ с его специфической биографией [Freadman, 2002, p. 308–309].

45

Сам факт наличия и повторяемости таких переходов (от биографизма к антибиографизму и наоборот) наталкивает на мысль, что аутентичное понимание биографии философа возможно лишь при условии признания ее принципиальной парадоксальности: философ всегда движется к всеобщему, однако достигает этого всеобщего исключительно индивидуальным путем. Из этого следует, что «биографический поворот» имеет смысл лишь как дополнение к привычным моделям историко-философского познания, сосредоточенным на трудах и концепциях философов, а также изучающих развитие философской мысли в течение продолжительных исторических периодов, а историко-философская биографистика должна отказаться от в равной степени односторонних попыток полностью свести философию к жизни философов или, наоборот, их полностью разделить. Например, определенные факты из биографии Ницше дают основания говорить о нем как о глубоко больном человеке,

однако распространенные диагнозы (такие, скажем, как «сифилис» или «шизофрения») не способствуют пониманию его собственно как философа. Значительно более конструктивным представляется взгляд на Ницше через призму концепции «творческой болезни», предложенной в 1960-е годы швейцарско-канадским историком психоанализа А. Элленбергером с целью объединить факты творчества и болезненности в биографиях многих выдающихся личностей. Обращение к понятию «творческой болезни» (одновременно с признанием его метафоричности) способствует разрешению такой извечной интеллектуально-биографической проблемы, как «гениальность и умопомешательство», ибо оно не редуцирует творчество до патологии, а, наоборот, амплифицирует патологию до творчества (подробнее об этом см.: [Менжулін, 2010, с. 123–144; Менжулин, 2002, с. 65–83]).

46 Еще при жизни Ницше важные шаги в направлении поиска «серединного» пути между Сциллой редуccionизма и Харибдой компартиментализма были сделаны и в рамках академической философии. Однако даже у такого авторитетного специалиста тех времен, как Куно Фишер, важные достижения на ниве историко-философской биографистики соседствуют с поучительными промахами. Так, например, выдвинув достаточно разумное предположение, что взаимодействие между жизнью и учением философа следует рассматривать как корреляцию, а не детерминацию (по Фишеру, характер (гений) философа является истоком как его жизни, так и учения) [Фишер, 2003, с. 224], Фишер оказался несколько непоследовательным в его реализации. Если в биографиях Бекона, Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта и Фихте он нашел черты, одинаково характерные и для их жизни, и для их философствования, то в случае с Шеллингом и в еще большей степени — с Гегелем верх взяло стремление к размежеванию творчества и жизни. Такой уклон в сторону компартиментализма и логицизма объясняется тем, что именно Гегеля Фишер считал носителем философии в ее максимально универсалистском и, соответственно, безличном виде. В случае с Гегелем становится очевидно, насколько хрупким был свойственный Фишеру методологический компромисс между био-

графизмом и логицизмом. Выразительным свидетельством непоследовательности Фишера могут служить и его «колебания» между такими полюсами биографистики, как апологетика и развенчание. Если определенные элементы критики, присутствующие в жизнеописаниях Бекона, Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, носят в целом сбалансированный и преимущественно доброжелательный характер, то в случае с Шопенгауэром, напротив, доминирует установка на развенчание. Объясняется это тем, что, в отличие от вышеупомянутых философов, Шопенгауэр персонифицировал радикальный антагонизм по отношению к тем ценностям, традициям, сообществам и институтам, представителем и защитником которых был Фишер: немецкого патриотизма, немецкой после-Кантовой философской традиции, университетской философии и непосредственно философии Гегеля (подробнее об этом: [Менжулін, 2010, с. 63–99]).

Новые аргументы в пользу принципиальной необходимости биографизма в истории философии, а также примеры эффективного использования этой установки на практике находим у младшего современника и почитателя К. Фишера, одного из лидеров Баденского неокантианства В. Виндельбанда. Ключевым для историко-философских студий последнего стал общеметодологический тезис баденцев о равноправном сосуществовании двух типов познания — номотетического и идиографического, первый из которых ориентирован на генерализацию знаний посредством установления универсальных законов, а второй — на их дифференциацию посредством индивидуализации. Именно признание их равноправия дало возможность Виндельбанду и его последователям говорить о генетической связи философии с личными судьбами философов и общим культурным контекстом, но не превращать индивидуально-биографические факторы в исследовательский фетиш (подробнее об этом: [Менжулін, 2010, с. 96–100]). Выразительным свидетельством сбалансированности исследовательской стратегии Виндельбанда может служить наличие в его наследии трудов, в которых история философии предстает и как история систем, созданных конкретными личностями (см.: [Виндельбанд, 1998] или

[Виндельбанд, 1993]), и как история философских проблем [Windelband, 1901].

48 То, что биографическая составляющая имеет фундаментальное значение практически для всех основных разновидностей неклассического философствования, может быть подтверждено еще целым рядом примеров из истории западной философии XIX—XXI ст. Так, скажем, для того, чтобы ослабить резонанс, вызванный и по-прежнему вызываемый резкими антибиографическими заявлениями М. Хайдеггера (см., напр.: [Сафрански, 2005, с. 22–23; Хайдеггер, 2006, с. 16; Хайдеггер, 1991, с. 153]), вовсе не обязательно редуцировать их к некоторым фактам из его собственной биографии, относящимся к временам правления Гитлера. Скептически оценивая значение биографии философа для философии, Хайдеггер не отрицал обратного — огромного значения философии для биографии философа [Хайдеггер, 1991, с. 146–147]. На самом деле такой ход мысли (не от жизни к текстам, а от текстов к жизни) не отрицает историко-философскую биографистику, а лишь очерчивает одну из ее возможных стратегий, проводники которой (например, один из биографов самого Хайдеггера: [Бимель, 1998]) особенно заинтересованы в том, чтобы отвести от философии угрозу ее полной индивидуализации, дискретизации и деуниверсализации. На наш взгляд, один из примечательнейших аспектов политической биографии Хайдеггера состоит как раз в том, что ему удалось «занять политическую позицию, высказываясь исключительно философски» [Бурдые, 2003, с. 22], и тем самым максимально изолировать связь (философии с реальной жизнью и политикой), наличие которой многие его предшественники (такие, например, как Сенека или Цицерон [Грималь, 2003, с. 30–31]) признавали более открыто и прямолинейно. Во-вторых, пропасть между Хайдеггером и биографизмом станет еще меньшей, если мы обратимся к традиции, к которой он в значительной степени принадлежал (экзистенциализм) и для которой акцент на персональных аспектах философствования является характерным как в типологическом, так и в генеалогическом плане (родословную экзистенциализма принято вести от Кьеркегора). Более того, среди влиятельных мыслителей, работавших в непо-

средственным идейном соседстве с Хайдеггером, биографические исследования ценили и практиковали отнюдь не только экзистенциалисты.

Например, один из предшественников Хайдеггера — В. Дильтей — в разные периоды своего творчества не только осуществлял конкретные философско-биографические исследования (написал биографии Шлейермахера и Гегеля), а и искал, находил и уточнял границы индивидуального и универсального, субъективного и объективного на теоретико-методологическом уровне. Находясь под влиянием Ф. Шлейермахера, Дильтей долгое время считал автобиографию высшей формой постижения жизни и, исходя из этого, давал биографам достаточно утопическую рекомендацию — «вчувствоваться» в своих героев, «переноситься» на их место. Однако со временем Дильтей дистанцировался от автобиографического идеала и нашел для биографии более удачную «пару» — историю [Дильтей, 2004, с. 296]. С учетом того, что биография индивида определяется не только его собственными намерениями и поступками, а и историческим контекстом (как ближайшим, так и широчайшим), любая биографическая реконструкция должна быть вписана в значительно более широкий контекст (см.: [Роди, 2002, с. 28]). Даже изучение таких интимно-биографических материалов, как переписка и рукописи, не может ограничиваться чисто субъективными факторами, ибо и оно раскрывает индивида как пересечение воздействия разных сил [Дильтей, 2004, с. 300]. При этом следует помнить о взаимной несводимости индивидуально-биографических и общеисторических факторов: история не является простой суммой историй жизни отдельных индивидов, однако такое ее понимание, которое не предполагает понимание жизни индивидуумов, представляет собой бесперспективную попытку постичь целое, обходя вниманием части. Затруднения, возникающие перед биографом в процессе работы с разнообразными контекстами, в частности и таким широким, как универсальный опыт истории, Дильтей рекомендовал преодолевать посредством изучения таких «субъективно-объективных», «индивидуально-универсальных» опосредований, как типичные мировоззрения [Дильтей, 1995].

К. Ясперс, соглашаясь Хайдеггером, что выпячивать собственную философскую индивидуальность не стоит [Хайдеггер, 2001, с. 48–49], не распространял это ограничение на личности других философов. Более того, его интерес к биографистике и персональному измерению философии имел глубокий и многосторонний характер (см., напр.: [Jaspers, 1971; Ясперс, 1994; Jaspers, 1985]). Противники биографизма нередко обвиняют его сторонников в психологизме. Что касается психологизма Ясперса, то оный, если и имел место, принципиально отличался от психоредукционизма, которым грешили его многочисленные коллеги по первой специальности (психиатрия): он не сводил творчество той или иной выдающейся личности к ее душевной патологии, ибо, четко осознавая, что в случае с человеком, судьба которого определяется не только биологическими предпосылками, а и экзистенциальными решениями, объяснение должно уступить место пониманию [Перов, 2000, с. 31; Ясперс, 1997, с. 832–833]. В то же время присущая врачу готовность сосредотачиваться на отдельных случаях проявилась в том, что Ясперс сумел показать, что история философии от древности до наших дней — это не просто целостность, все элементы которой сливаются воедино, а такая целостность, которая является множеством самобытных философских истин, открытых отдельными мыслителями, самые выдающиеся (парадигматические) из которых не только высказывали определенные философские идеи, а и воплощали их в собственной жизни (см., напр.: [Jaspers, 1985]). Обвинения Ясперса в атомизации и релятивизации историко-философского процесса (см., напр.: [Мамардашвили, 1965]) оказываются не очень убедительными, ибо, по его мнению, существует универсальная, абсолютно-истинная философия (*philosophia perennis*), в которой речь идет о всеобъемлющем (*Umgreifende*). Однако осуществляется эта философия лишь через персональные манифестации, т.е. через отдельных философов, причем ни один из них не имеет на нее монопольного права [Ясперс, 2000, с. 68]. Заслуживает внимания и мысль Ясперса о сосуществовании трех равноценных и органически связанных между собой сфер историко-философского познания: истории форм философского мышления (история понятий, ис-

тория постановок вопросов, история систем), истории его содержания и истории философских личностей [Ясперс, 2000, с. 178–185].

Еще одним философом-экзистенциалистом, сыгравшим значительную роль в укреплении связей между философией и биографистикой, стал Ж.-П. Сартр. Вовсе не случайно, что главным героем романа «Тошнота» (изданного Сартром в 33-летнем возрасте) является человек, пытающийся написать биографию одной исторической фигуры, но в конечном итоге признающий это занятие абсолютно бесперспективным и отказывающийся от биографистики в пользу художественной литературы. Весьма символично, что сам Сартр в последующие годы не стал на путь своего героя, а, напротив, посвятил биографическому письму почти всю вторую половину своей жизни (Сартр стал автором биографий Бодлера, Жене, Малларме и Флобера). Анализ разнообразных источников (осуществленный нами в: [Менжулин, 2010, с. 206–244]) дает основания предположить, что в «Тошноте» речь идет об отказе не от биографистики как таковой, а от «биографического романтизма» (с присущей ему биографической иллюзией, реализующейся в ретроспективном превращении реальной жизни в красивый рассказ) и «биографического позитивизма» (с присущей ему верой в возможность абсолютно объективного биографического исследования, основанного исключительно на фактах). Собственная стратегия биографического письма, сформированная Сартром в качестве альтернативы этим двум — на тот момент доминирующим — подходам, является плодом рецепции, критики и переосмысления таких направлений философии XIX–XX ст., как гегельянство, марксизм, психоанализ, феноменология, экзистенциализм, интуитивизм, структурализм. Одним из важнейших результатов этого критического синтеза стало создание регрессивно-прогрессивного метода, который отражает попытку Сартра преодолеть редукционизм, характерный для психоаналитического и марксистского подходов к биографии. Последние ограничиваются тем, что Сартр называет регрессивным моментом, и пренебрегают прогрессивной фазой исследования, а именно — поисками того, как герой, руководствуясь своей неотъемлемой свобо-

дой выбора, своим правом ставить перед собой цели, трансформирует разнообразные объективные предпосылки (социальные, психологические и т.п.) в собственный фундаментальный проект. Однако, с нашей точки зрения, стоит иметь в виду, что на протяжении жизни человек может отказываться от одних проектов в пользу других. Возможно, каждый отдельный проект и поддается окончательной расшифровке, но сам факт множественности проектов чрезвычайно проблематизирует создание единого биографического нарратива. О масштабах проблемы свидетельствует и опыт самого Сартра: работая над чужими биографиями, он нередко достаточно жестко навязывал своим героям вовсе не их, а свои собственные проекты (см., напр.: [Collins, 1980, p. 200]).

52 Большой интерес к биографистике проявляла и такая стойкая союзница Хайдеггера, как Х. Арендт. Вопреки нормам «канонической биографии», Арендт отдавала предпочтение исследованию биографий людей, не являвшихся «выразителями Истории с большой буквы», «рупорами эпохи». Осуществлявшаяся ею биографическая политика базировалась на убеждении, что «мелкие» истории людей не исчезают на фоне универсальной истории человечества, а индивид может рассматриваться как в значительной степени автономный от своей эпохи (см., напр.: [Арендт, 2003, с. 7–10; Arendt, 1974; Benhabib, 1995, p. 21–22]). Не менее важным для нас является также и убеждение Арендт, в соответствии с которым разделение академической деятельности на «лично-субъективные» и «безлично-объективные» составляющие имеет смысл лишь в рамках естествознания, тогда как личность гуманитария неразрывно связана с его интеллектуальной деятельностью. Стоит отметить, что в поисках яркого примера интеграции объективно-научных и субъективно-личностных элементов биографии в едином, целостном образе мыслителя Арендт обращается к личности Ясперса [Арендт, 2003, с. 85–111]. Важный аспект «биографической политики» Арендт заключается также в выдвижении ею позитивной альтернативы распространенным порокам биографического письма. Согласно Арендт, биограф, относящийся к своему герою дружественно, оставляет за собой право для доб-

рожелательной критики, но избегает опасности как отстраненного объективизма, так и обеих крайностей субъективизма (апологетики и развенчания) [Арендт, 2003, с. 35–43]. Дружественная биографистика, которую пропагандировала и практиковала Арендт, также может рассматриваться как продолжение линии Ясперса на деиерархизацию и плюрализацию историко-философского мышления.

Расцвет структурализма (и связанной с ним установки на десубъективизацию знания и мышления), пришедшийся на 1960-е, внешне выглядел окончательным приговором биографистике, однако, если присмотреться внимательнее, скорее способствовал ее освобождению от многих закоренелых изъянов. Возьмем, к примеру, знаменитый тезис о «смерти автора», выдвинутый Р. Бартом и поддержанный М. Фуко. Анализ (детально изложенный в: [Менжулін, 2010, с. 263–276]) ряда работ, относящихся к разным периодам творчества Фуко (как структуралистского, так и постструктуралистского), дает основания утверждать, что тезис о «смерти автора» не устраняет биографический аспект из историко-философского исследования, а скорее предостерегает биографа от упрощенного истолкования образа своего героя. Развитию биографистики не только не вредят, а, наоборот, способствуют принципиальные замечания, адресованные Фуко тем, кто воспринимает автора как абсолютно объективную и непрерывную реальность, не учитывая при этом его функциональность, конструктивность и дискретность. Фуко был абсолютно прав, восставая против такой распространенной, но ошибочной практики, когда все, что написано тем или иным автором, подгоняется, редуцируется под определенные допущения касательно его «глубинной» сути или, например, окончательно установленного «фундаментального проекта». Заслуживает внимания мысль одного из биографов Фуко о том, что в случае с его героем важнее всего то, как он не погряз в разнообразных индивидуальных и социальных детерминациях, а, наоборот, трансформировал их в уникальный жизненно-интеллектуальный проект, который, в частности, предполагал ироническое отношение к собственной идентичности, проблематизацию собственного образа и авторства [Эрибон, 2008, с.

19]. Многочисленные теоретические заявления и практические действия, осуществлявшиеся Фуко с целью сделать невозможным биографический взгляд на себя, в конечном итоге имели обратный эффект: интерес к его личности не утихает уже несколько десятилетий, что является очередным примером принципиальной парадоксальности биографии философа: он изо всех сил старается лишить собственные произведения биографических референций, благодаря чему, в конце концов, получает редкую привилегию — привлекает внимание к своей биографии.

54 Признаки отхода от свойственного «чистому» структурализму или «аутентичному» хайдеггерианству антибиографизма можно найти и в эволюции взглядов известнейшего из постструктуралистов и продолжателей линии Хайдеггера на деконструкцию западной метафизики — Ж. Деррида. Он пришел к выводу, что с точки зрения истории философии критики заслуживают не только «внешние» эмпирико-генетические (психологические, исторические, социологические) объяснения, но и чисто «имманентистские» прочтения, избегающие биографий философов или минимизирующие их значение. Исходя из этого, Деррида призывал историков философии удерживаться на тонкой линии между «отрядом философом» и «жизнью уже признанного под своим именем автора» [Деррида, 2002, с. 44–45].

Одним из направлений современной гуманитаристики, которое можно считать примером реализации этой установки, является новый историзм. В отличие от традиционной истории философии, отдающей предпочтение текстуальному, интертекстуальному и дискурсивному анализу, новый историзм (в частности в лице такого его представителя, как А. Эткинд (см., напр.: [Эткинд, 2001]), рассматривая тексты и жизнь как неразрывно связанные между собой, активно дополняет упомянутые типы анализа экскурсами в экстратекстуальную (в том числе и биографическую) плоскость. За текстуальной реальностью сохраняется центральная роль, тогда как значение экстратекстуальных факторов признается периферийным, однако, в отличие от компартиментализма, новый историзм отказывается разделять центр и периферию непроходимыми барьерами и требует осуществ-

лять исследование как в центростремительном (от жизни к текстам), так и в центробежном (от текстов к жизни) направлениях. Новый историзм демонстрирует готовность читать все текстуальные следы прошлого (в том числе и такие, которые принято считать маргинальными), но делает это лишь в интересах целостного видения. Успехи, достигнутые новым историзмом на этом пути, дают основания признать познавательную ценность таких «маргиналий», как, скажем, анекдотические, мифические или даже явно лживые биографические факты (ибо последние нередко порождают важные исторические последствия, а также много говорят о том, как их авторы или ретрансляторы хотели представить своих героев будущему). Важно, что в своем отношении к биографической составляющей в истории философии новый историзм близок к таким философским традициям, как прагматизм (Д. Дьюи, В. Джемс, Ч.-С. Пирс) и неопрагматизм (Р. Рорти), а также к семиотике Ч.-В. Морриса, которая учит, что, кроме синтаксиса и семантики, следует учитывать и прагматическое измерение семиозиса, т.е. все те психологические, биологические и социологические явления, которые наблюдаются в процессе функционирования знаков [Моррис, 2001, с. 70–71] (подробнее о новом историзме и его связи с биографизмом и прагматизмом см.: [Менжулін, 2010, с. 277–308]).

55

Философскую санкцию возможности рассмотрения идей философов в связи с их биографиями дает не только прагматизм, а и современная англо-американская философия в целом, новейшие процессы в которой, как уже отмечалось, могут быть квалифицированы как «биографический поворот». Символом «биографического поворота» в аналитической философии стала публикация в 1990 г. биографии Л. Витгенштейна [Monk, 1990], автор которой (Р. Монк) развеял распространенные ранее представления о глубокой антибиографичности одного из основателей аналитической философии и дал веские основания считать, что философия и личность этого мыслителя неразрывно связаны между собой⁵. Поскольку образцовым примером единства

⁵ Аналогичная мысль («Жизнь Витгенштейна... тесно связана с его философией» [Руднев, 2011, с. 6]) лежит в основе похожей по жанру и тематике книги В.П. Руднева, впервые опубликованной в 2002-м году

личности и ее философии с давних времен считают Сократа, современный американский исследователь (Дж. Конан) вводит понятие «сократического момента», а также решается объявить носителем этого знака отличия не только Витгенштейна, но и Б. Рассела [Conant, 2001, p. 30]. Увидеть глубокую связь между философией и жизнью в трех настолько несхожих случаях (Сократ, Витгенштейн, Рассел) современным англоязычным исследователям удается благодаря отказу от поисков единого универсального метода биографического исследования и готовности искать уникальные методические приемы для исследования каждой конкретной личности [Conant, 2001, p. 17].

56 Поскольку такой плюрализм напоминает о близости биографистики к искусству, стоит отметить, что ее интеграция с историей философии не обязательно влечет за собой отказ от академической системы координат. Вопреки распространенному мнению, в соответствии с которым биографические аспекты и элементы являются самыми простыми и лишь поэтому — самыми популярными составляющими любой академической дисциплины (см., напр.: [Паньков, 2010, с. 715]), мы считаем, что историко-философская биографистика является не только интересной и популярной, этически поучительной и эстетически выразительной, но и теоретически обоснованной и исторически зрелой, идеологически многослойной и культурно значимой, методологически сложной и эвристически насыщенной областью историко-философского познания. Приблизиться к объективной оценке тех или иных биографических реконструкций можно, присматриваясь к тому, насколько аккуратным и точным является биограф в процессе освещения связей между жизнью и трудами своего героя, насколько четко он осознает и насколько тактично эксплуатирует свои дискурсивные связи (или наоборот — разрывы) с героем, насколько адекватными оказываются его решения по части отбора биографического материала и формы его подачи [Freadman, 2002, p. 313–319]. Важно, чтобы при этом биограф не забывал о наличии специфического «биографично-

[Руднев, 2002], т.е. тогда же, когда прозвучало и упомянутое в начале нашей статьи заявление об «эскалации биографизма» в России.

герменевтического круга», попытки вырваться из которого неминуемо приведут либо к редукционизму, либо к компартиментализму (более глубокое ознакомление с обстоятельствами жизни мыслителя помогает лучше понять его мысли, однако более глубокое понимание мыслей способствует новому, еще более глубокому пониманию жизни).

На контрасте с такой глобальной ловушкой биографического подхода, как редукционистское объяснение, раскрывается его ключевая методологическая установка: любой биографический материал (в том числе и психолого-психиатрический, биологический, социально-политический) имеет смысл в историко-философском исследовании лишь тогда, когда он используется не для объяснения идей философов, а для прояснения, причем не столько отдельно взятых идей, сколько всей личности философа, являющейся очень сложным и отнюдь не однонаправленным взаимодействием жизненных и теоретических факторов. В отличие от объяснения, которое тяготеет к однозначности, прояснение с самого начала должно осознавать собственную поливариантность и неокончателность. Учитывая вышесказанное, а также в соответствии с этимологией слова «биография» (происходящего от древнегреческих слов «βίος», т.е. «жизнь», и «γράφω», т.е. «пишу» («писать»), «черчу» («чертить»), «рисую» («рисовать»)), современный биограф философа должен, прежде всего, как можно точнее описать, как его герой жил, и очертить, какие идеи высказывал. Удачная реализация этих заданий позволит создать довольно выразительный «портрет на фоне», который не раскроет однозначные причины и следствия, а лишь даст возможность увидеть максимально широкий спектр вероятных связей и оставит право интерпретировать их значимость за читателем. Тем самым биограф исполнит волю одного из самых чувствительных к оценкам своей биографии философов, который, если верить его собственным словам, рассказал обо всех своих поступках, мыслях и чувствах, показал свою душу с разных точек зрения и сторон, рассчитывая на то, что «именно читателю надлежит соединить эти элементы и определить существо, которое они составляют: результат должен быть его творением» [Руссо, 2004, с. 177]. Однако, в отличие от этого классика

философской автобиографии, современному биографу философа еще понадобится убедить читателя в том, что он действительно показал своего героя с *разных* точек зрения и сторон, а также рассказал о его поступках, мыслях и чувствах не только то, что тот рассказал бы о них и сам.

Литература

Авто-био-графия. К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии. № 1 / под ред. В. А. Подороги. М.: Логос, 2001.

Адо П. Духовные упражнения и античная философия / пер. с фр. М.: Степной ветер; СПб.: Коло, 2005.

Арендт Х. Люди в темные времена / пер. с англ. и нем. М.: Московская школа политических исследований, 2003.

58 *Бимель В.* Мартин Хайдеггер: Сам свидетельствующий о себе и о своей жизни / пер. с нем. Челябинск: Урал LTD, 1998.

Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер. с франц. М.: Праксис, 2003.

Валевский А.Л. Основания биографики / А. Л. Валевский. Киев: Наукова думка, 1993.

Виндельбанд В. От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками / пер. с нем. М.: Канон-пресс; Кучково поле, 1998.

Виндельбанд В. Платон / пер. с нем. Киев: Зовнішторгвидав України, 1993.

Голубович И.В. Биография: силуэт на фоне Humanities: (Методология анализа в социогуманитарном знании). Одесса: Фридман А. С., 2008.

Грималь П. Сенека, или Совесть Империи / пер. с фр. М.: Молодая гвардия, 2003.

Деррида Ж. Ухобиографии: учение Ницше и политика имени собственного / пер. с фр. СПб.: Академический проект, 2002.

Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе / пер. с нем. // Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. Т.3. М.: Три квадрата, 2004.

Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах / пер. с нем. // Культурология: XX век: антология / гл. ред. и сост. С. Я. Левит. М.: Юристъ, 1995. С. 213–255.

Мамардашвили М.К. К проблеме метода истории философии: (Критика исходных принципов историко-философской концепции К. Ясперса) // Вопросы философии. 1965. № 6.

Менжулин В.И. Расколдовывая Юнга: от апологетики к критике. Киев: Сфера, 2002.

Моррис Ч.-У. Основания теории знаков / пер. с англ. // Семиотика: антология / сост. и общ. ред. Ю. С. Степанов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект: Деловая кн., 2001. С. 45–97.

Павич М. Бумажный театр: Роман-антология, или Современный мировой рассказ / пер. с серб. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009.

Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.

Пезин А. Жизнь Автора // Художественный журнал / Moscow Art Magazine. 2002. № 45.

Перов Ю.В. Проект философской истории философии Карла Ясперса // Ясперс К. Всемирная история философии: Введение. СПб.: Наука, 2000. С. 5–50.

Роди Ф. Жизненные корни гуманитарных наук: (по поводу «психологии» и герменевтики» в позднем творчестве Дильтея) / пер. с нем. // Герменевтика. Психология. История. [Вильгельм Дильтей и современная философия]: материалы научной конференции РГГУ. М.: Три квадрата, 2002. С. 11–30.

Руднев В.П. Божественный Людвиг (Витгенштейн: Формы жизни). М.: Фонд науч. исслед. «Прагматика культуры», 2002.

Руднев В.П. Божественный Людвиг (Витгенштейн: Формы жизни). Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.

Руссо Ж.-Ж. Исповедь / пер. с фр. М.: Захаров, 2004.

Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время / пер. с нем. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2005.

Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883–1946. Экономист, философ, государственный деятель. В 2-х книгах / пер. с англ. М.: Московская школа политических исследований, 2005. Кн. 1.

Фишер К. Фрэнсис Бэкон Веруламский: реальная философия и ее эпоха / пер. с нем. // Фишер К. История новой философии: Введение в историю новой философии; Фрэнсис Бэкон. М.: АСТ: Ермак, 2003. С. 215–536.

Хайдеггер М. Ницше / пер. с нем. Т. 1. СПб.: Владимир Даль, 2006.

Хайдеггер М. Переписка, 1920–1963 / пер. с нем. М.: Ad Marginem, 2001.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества / пер. с нем. М.: Высш. шк., 1991.

60 *Эрибон Д.* Мишель Фуко / пер. с фр. М.: Молодая гвардия, 2008.

Эткинд А.М. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. 2001. № 47.

Ясперс К. Всемирная история философии: Введение / пер. с нем. СПб.: Наука, 2000.

Ясперс К. Общая психопатология / пер. с нем. М.: Практика, 1997.

Ясперс К. Философская вера / пер. с нем. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-е изд. М.: Республика, 1994. С. 420–508.

Менжулін В.І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні. Київ.: НАУКМА [Аграр Медіа Груп], 2010.

Цалик С.М. Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури. 2-ге вид. Київ: Наш час, 2011.

Arendt H. Rahel Varnhagen, the life of a Jewish woman. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.

Benhabib S. The pariah and her shadow: Hannah Arendt's biography of Rahel Varnhagen // Political theory. Feb., 1995. Vol. 23. № 1.

Collins D. Sartre as biographer. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 1980.

Conant J. Philosophy and biography // Wittgenstein: biography and philosophy / ed. by James C. Klagge. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 16–50.

Critchley S. Continental Philosophy: A Very Short Introduction. New York & Oxford: Oxford University Press, 2001.

Freadman R. Genius and the dutiful life: Ray Monk's Wittgenstein and the biography of the philosopher as sub-genre: (Critical essay) // Biography. 2002. Vol. 25. № 2.

Hamilton N. Biography: a brief history. Cambridge, Mass.; London, England: Harvard University Press, 2007.

Hampton T. Writing from history: the rhetoric of exemplarity in Renaissance literature. Ithaca; London: Cornell University Press, 1990.

Jaspers K. Psychologie der Weltanschauungen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1971.

Jaspers K. Socrates, Buddha, Confucius, Jesus: the paradigmatic individuals. San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1985.

Momigliano A. The development of Greek biography. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Monk R. Ludwig Wittgenstein: the duty of genius. New York: Free Press: Maxwell Macmillan International, 1990.

The rhetorics of life-writing in early modern Europe: forms of biography from Cassandra Fedele to Louis XIV / ed. by T. F. Mayer and D. R. Woolf. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995.

Windelband W. A History of Philosophy: With Especial Reference to the Formation and Development of Its Problems and Conceptions. New York: The Macmillan Company, 1901.

Инна Голубович

П.М. Бицилли о феномене автобиографии и
«биографический поворот» в современной
гуманитаристике

Петр Михайлович Бицилли (1879 — 1953) — один из наиболее выдающихся представителей гуманитарной традиции историко-филологического факультета Императорского Новороссийского (Одесского) университета. Его разноплановое творческое наследие — труды по медиевистике, истории культуры, теории и методологии истории, литературоведению — возвращаются к нам после долгих лет «полузабвенья». Сегодня активно формируется и институционализируется новое направление междисциплинарных исследований, которое его представители уже обозначили как «бициллиеведение» [Попова, 2010, с. 15–27]. В рамках данной публикации мы обращаемся к одной из важнейших для П.М. Бицилли исследовательских тем — феномену автобиографии. Наше движение к «бициллиеведению» также осуществляется в контексте становления новой междисциплинарной области гуманитарных исследований, которую мы пока весьма условно обозначим как теоретическая биографистика.

Проблематика, связанная с феноменами биографии и автобиографии, стала одной из центральных в современном гуманитарном знании. Устойчивую нишу в социологии, психологии, литературоведении, социальной и культурной антропологии, исторической науке занял биографический подход. В многооб-

разии своих проявлений он приобрел сегодня статус междисциплинарного (транс- и мультидисциплинарного). Нам представляется, что в этой связи можно говорить о своеобразном «биографическом повороте» в сфере Humanities, истоки, основания и контуры которого нуждаются в осмыслении [Голубович, 2008; Голубович, 2009; Менжулін, 2010].

П.М. Бицилли в своей первой крупной работе «Салимбене (Очерки истории итальянской жизни XIII века)», написанной на основе магистерской диссертации, сделал феномен средневековой автобиографии предметом специального анализа [Бицилли, 2006]. В своем исследовании, виртуозно сочетающем исторический и культурологический анализ, он размышляет и о феномене автобиографии как таковом, о месте биографической/автобиографической традиции в европейской культуре. Пожалуй, не будет преувеличением, если мы скажем, что в «Салимбене...» исследователь формулирует основные положения своей историко-культурологической концепции автобиографии. Однако в таком ракурсе мало кто читал эту работу П.М. Бицилли. На нее ссылается современный российский философ Э.Ю. Соловьев в своих размышлениях о сути и возможностях биографического анализа в «гуманитарной историографии». Так он обозначил широкое поле междисциплинарных исследований, объединенных общей темой (личность в ситуации, человек в объективной драме истории) и общим подходом (конкретно-историческая индивидуализация, представление истории идей как человеческой драмы в лицах) [Соловьев, 1991, с. 19–52]. Однако Э. Соловьев лишь упоминает важную для формирования его позиции работу П. Бицилли, содержательно не рассматривая ее.

В целом же «автобиографическая» составляющая творчества выдающегося ученого еще не вошла в полноценный оборот современной гуманитаристики. Обратив на нее внимание, показать ее чрезвычайную актуальность и безусловную востребованность в контексте «биографического поворота» — такова цель настоящей публикации.

Прежде всего, обозначим основные тенденции и перспективы развития современного гуманитарного знания, которые

актуализируют биографическую проблематику и придают ей новые очертания, заставляя говорить о «биографическом повороте», «ренессансе» биографического метода и «новом биографизме/автобиографизме». Во-первых, произошла кардинальная смена концептуальных оснований гуманитарного знания, своеобразный «антипозитивистский перелом» — отказ от господства объективистских моделей социокультурного бытия. Этот отказ по-разному теоретически мотивируется и порождает разные концептуально-методологические альтернативы. Возрастает интерес к индивидуально-личностному измерению культуры и социального бытия, требующий новых исследовательских стратегий и ориентаций, в первую очередь, отражающих специфику субъективного осмысления, интерпретации, конструирования социальной реальности. Эта тенденция вписывается в «антропологический поворот», также характеризующий современное состояние Humanities.

64

Во-вторых, целый комплекс «наук о человеке» вновь находится в поисках своего предмета, прежние «антропологические проекты» (не учитывающие, в частности, «телесность», вписанность в повседневность, конкретную фактичность, конечную историчность человеческого бытия и т.д.) выглядят неудовлетворительными, особенно при попытке с их помощью анализировать уникальный биографический и автобиографический опыт. Современный украинский философ А.Л. Валевский, предлагая проект «биографики», говорит о том, что концептуальным ее основанием является кардинальное изменение категориально-понятийного горизонта исследования мира человека, переход от классического к постклассическому способу конструирования «онтологии человека» [Валевский, 1993]. Классический способ, не как строгое понятие, а как познавательная установка и стиль рассуждения, рассматривал человека в субъект-объектной дихотомии, вынося целый ряд феноменов человеческого существования за скобки научного знания. Вынесению за скобки подвергалось то, что нельзя было свести к универсальным объективным субстанциональным структурам, представляющим по отношению к индивидуальному существованию как априорные. По мнению А.Валевского, такой универсализм про-

низан «субстанциональным недоверием» к своему антиподу — уникальному. При этом само существование уникального в силу его очевидности не отрицалось, а лишь выводилось за пределы методологической рефлексии [Валевский, 1993, с. 10]. Как следствие, биография — средоточие уникального и индивидуального — также выносилась за скобки методологического вопрошания, существуя на периферии научного знания в качестве иллюстрации («экземплы»). Постклассический способ конструирования «онтологии человека» (опять-таки не как строгое понятие, а как стиль рассуждения) вводит в горизонт теоретико-методологического вопрошания в качестве самоценного и автономного предмета исследования индивидуальное и соотнесенное с ним уникальное во всей полноте «жизненного мира», куда оно вписано. Кроме того, ставится под сомнение сама возможность теоретического обобщения и унификации человеческого опыта как такового. В этом же горизонте, проблематизируется фигура самого задающего вопрос, его идентичность (в нашем контексте — создателя автобиографии, биографа, ученого, изучающего «личные нарративы»). Вторая проблематизация, как считал М. Фуко, является началом социальных и гуманитарных наук.

65

Не стоит абсолютизировать индивидуализирующую установку гуманитаристики, не учитывать опасность превращения ее в своего рода интеллектуальную моду, что во многом уже произошло. Свидетельство тому — «автобиографический и биографический бум», с которым гуманитарным наукам предстоит справиться. Мода пройдет, а ее последствия: сложившиеся когнитивные установки, шаблоны и стереотипы придется изживать посредством самокритики и саморефлексии.

И в этом смысле чрезвычайно полезным будет новое обращение к концепциям тех ученых гуманитариев, которые совершали «методологический переворот» в гуманитарном знании, приближая его к уникальной индивидуальности, конкретной и целостной жизни, к биографическому и автобиографическому опыту. Для них «индивидуализирующая стратегия» отнюдь не являлась шаблоном, а, напротив, была напряженным внутренним заданием в противостоянии диктату господствующей

щей тогда «позитивистской моды». Они «отвечали» за каждое сказанное в науке слово и ответственно, и в этом смысле нравственно, обосновывали свои позиции. Именно таким был и П.М. Бицilli.

66 Сегодня происходит кардинальная смена исходных концептуальных моделей биографического дискурса: от поиска «объективного в субъективном» до интерпретации практически любого объективного социального феномена в терминах субъективного смыслоконструирования и смыслополагания. В данном контексте глубокий научный интерес к личным документам, жизнеописаниям, вариативности биографических и автобиографических актов стал одной из констант современной гуманитаристики. Можно надеяться, таковой он и останется. «Старый биографизм», традиционно связываемый с классическим «биографическим методом», сменяется «новым биографизмом», исходящим из иных, непозитивистских оснований (феноменология, онтогерменевтика, экзистенциализм, персонализм и др.). «Новый биографизм» фиксирует переориентацию внимания с «внешней биографии» на биографию внутреннюю. Как теоретико-методологическое основание современных гуманитарных исследований, часто латентное, неосознанное самими авторами, ориентирует на то, чтобы в биографических и автобиографических актах видеть именно внутреннюю историю духовой жизни, «внутреннюю плоть смысла». Такой, в частности, была траектория отношения к биографическому у Марселя Пруста: он резко выступил против «биографического метода» Сент-Бева и, одновременно, всю свою жизнь разгадывал тайны и загадки автобиографической памяти [Пруст, 1999]. Это, безусловно, частный вариант, однако он фиксирует общую тенденцию.

Термин «новый биографизм» был сформулирован в литературоведении в статье английского критика Кристин Брук-Роуз «Растворение характера в романе» [Brooke-Rose, 1986, p. 184–196.]. «Новый биографизм» знаменует, по мнению исследовательницы, принцип изображения человека в искусстве постмодернизма, который выражается в полной деструкции персонажа как психологически и социально детерминированного характера. Если А. Валевский онтологические (онтокультурные)

основания биографии видит в двух важнейших культурных ориентирах европейской традиции — индивидуализме и рационализме, то К. Брук-Роуз в содержательном наполнении термина «новый биографизм» как раз стремится обозначить фундаментальный кризис двух этих парадигмальных ориентаций. Среди основных причин «краха традиционного характера» в романе она называет деперсонализацию (разочарование в идее («культе») индивидуалистической личности) и «эпистемологический кризис» («эпистемологическую неуверенность»), связанный с разрушением модели классической рациональности. Речь во втором случае идет о познавательной неуверенности и еще категоричнее — познавательном агностицизме постмодернистского сознания, полагающего, что все наши представления о реальности являются производными от наших же многочисленных систем репрезентации («мультиперспективизм»). В связи с этим оказалась разрушенной старая "миметическая вера в референциальный язык" в язык, способный говорить "истину" о действительности. Таким образом, Брук-Роуз приходит к крайне пессимистическим выводам о возможности дальнейшего существования как литературного героя, так и вообще персонажа. Своей концепцией «нового биографизма» она сигнализирует об опасности, грозящей современной литературе и культуре в целом.

67

Полагаю возможным данный термин использовать в другом смысле и в другой, более оптимистической, тональности, свидетельствующей скорее о возможности «спасения» идеи личной индивидуальности, а также биографии как жанра и как социокультурного феномена. О переориентации на «новый биографизм» можно говорить с 70–80-х годов прошлого столетия, со времени «ренессанса» биографического подхода в гуманитаристике. «Новый биографизм» в том смысле употребления термина, который мы обозначаем, может быть также соотнесен с «новым историзмом». В рамках проекта «нового историзма» или «поэтики культуры», предложенного С. Гринблаттом, культура рассматривается как единый текст, созданный в результате взаимодействия творческих, социальных, экономических, политических импульсов [Greenblatt, 1989, p. 1–14]. А. Эткинд назвал биографический анализ одним из трех важнейших методологи-

ческих компонентов «нового историзма, наряду с интертекстуальным и дискурсивным анализом [Эткинд, 2001, с. 78–102]. Как нам представляется, биографический анализ сам по себе не может быть назван «методологическим компонентом» как раз в силу своей методологической несамостоятельности, неавтономности. Биографический подход сам нуждается в специальном теоретико-методологическом обосновании. И это обоснование неоднозначно и вариативно. Методологической нагруженностью будет обладать специфика соединения биографического анализа с определенными объяснительными моделями. В «новом историзме», как проекте «поэтики культуры», биографический анализ присутствует не в качестве одного из трех методологических «китов», а в неразрывном единстве с текстуально-дискурсивным прочтением самой культуры и истории. Идея такого единства — внутренний импульс традиций «микроистории» и нарративистского направления исторической теории (Ф. Анкерсмит, К. Гинзбург, А. Данто, Н. Земон Дэвис, Дж. Леви, Л. Минк, Х. Уайт и т.д.).

Фундаментальные основания такой связности жизни и дискурса/текста, онтологическая укорененность биографизма в человеческом бытии и культуре глубоко продуманы в традициях философской герменевтики, экзистенциализма, структурализма, постмодернизма. Такая онтология базируется на двух принципах: «жизнь познает жизнь» (В. Дильтей) и «история как свершение не существует вне *historia*-рассказа» (М. Хайдеггер). И именно такая онтология лежит в основании современного «биографического поворота», ряд значимых характеристик которого представлен в нашем обзоре, отнюдь не претендующем на полноту.

Теперь обратимся к работе Петра Михайловича Бицилли о самом обыкновенном средневековом монахе-францисканце Салимбене, вышедшей в Одессе в 1916 году на основе магистерской диссертации, защищенной в Санкт-Петербурге в 1912 году. Мы вычленим в ней идеи, методологические подходы и исследовательские приемы, которые соотносятся с проблематикой «биографического поворота».

Во-первых, П.М. Бицилли обозначает возможности «новой жизни» в науке для хорошо известного источника по политической и культурной истории Италии, перспективы его современного исторического и культурологического прочтения. Связаны же эти надежды на своеобразный «ренессанс» хроники Салимбене как раз с теми ее особенностями, которые с позиций традиционной «событийной» истории выглядели как существенные недостатки. Салимбене — самый ординарный, ничем не выдающийся исторический персонаж. Правда, ему довелось выполнять важные дипломатические поручения и знать в связи с этим выдающихся деятелей своей эпохи и даже столоваться с Людовиком XI. В этом и ценность свидетельства безвестного автора, об истории жизни которого по другим источникам почти ничего не удалось узнать. Зато Салимбене очень подробно описывает собственную жизнь сам. Его хроника изобилует автобиографическими элементами и в этом еще один ее недостаток, она слишком субъективно свидетельствует об объективных фактах.

Историки XIX века, тщательно изучившие хронику, вынесли вердикт: восстановить реальную биографию Салимбене невозможно, поскольку нельзя узнать истину о жизни человека только по тем сведениям, которые он дает о себе сам. Не стоит обозначать их позицию как сугубо позитивистскую и объективистскую. Их интересовала не только внешняя биография, но и внутренняя история монаха, история его души. Однако реализовать этот интерес без знания точных дат и событий жизни они не считали возможным. П.М. Бицилли, учитывая обрывочность, неполноту источника, множество умолчаний, содержащихся в нем, ставит задачу в другом ракурсе. «Я беру внутреннее “Я” Салимбене, так сказать в поперечном разрезе, — в ту пору, когда он, перевалив за шестой десяток, принялся писать свою хронику» [Бицилли, 2006, с. 235]. Центр исследовательского интереса смещается от героя автобиографии к ее автору. На первый взгляд, это одно и то же лицо, но взятое в двух разных модусах. Специальное, пристальное внимание к этим двум модусам автобиографического опыта обращает современная гуманитаристика. В социологии, психологии, социальной и культурной антропологии отработаны стратегии выделения фигуры повествова-

теля автобиографического нарратива, а также анализа трансформаций данной фигуры на протяжении жизни, что позволяет говорить о различных версиях автобиографической фиксации одних и тех же событий в связи с ситуативной сменой повествовательного начала. Однако для начала XX столетия — это достаточно новаторская задача, ее и ставит перед собой П.М. Бицилли.

Современное гуманитарное знание, совершая «лингвистический» и «нарративный» повороты, открывает не только новый предмет исследования, но и ящик Пандоры. Автор и рассказчик автобиографии затмевает и «растворяет» героя во множестве версий репрезентаций жизни. Исследователи больше говорят о воображении, свободном варьировании фантазиями, смысловых рефигурациях, чем об объективном историческом процессе.

70 Работа П.М. Бицилли демонстрирует гармоничное, сбалансированное взаимодополнительное соотношение между двумя измерениями историко-культурной реальности: личность и исторический процесс. Тезис ученого о том, что «личность есть, в конце концов, единственный реальный фактор исторического процесса» [Бицилли, 2006, с. 235], еще не означает, что личность становится самодовлеющим предметом анализа. Главное исследовательское усилие направлено все-таки на реконструкцию мировоззрения, мироощущения, умонастроения, религиозного и культурного «фонда эпохи», «картины мира», — того, что с подачи школы «Анналов» будет названо словом «ментальность». А путь к пониманию этой неуловимой и трудноопределимой социокультурной материи, по мнению П.М. Бицилли, лежит через отдельную личность, выражающую себя и говорящую о своем времени в тех автобиографических формах, которые данному времени присущи.

Еще один выдающийся выпускник историко-филологического факультета Новороссийского университета Г.В. Флоровский, младший друг П.М. Бицилли, многие годы состоявший с ним в переписке, сходным образом понимал данную проблему. Скорее всего, эта сродность в главных мировоззренческих и исследовательских приоритетах не была случайной. В 1923 году Г. Флоровский напишет в своей работе «Метафизиче-

ские предпосылки утопизма»: «В некотором смысле всякое мировоззрение есть автобиографическое повествование, рассказ и отчет об увиденном и услышанном, описание пережитого опыта. Но было бы превратно понимать этот опыт психологически и субъективно. Опыт есть реальное предметное касание, «выхождение из себя», встреча, общение и сожительство с «другими», с «не-я». И далее: «В строении и складе избранного предметного мира и заключается последнее основание внутреннего строя ответственного мировоззрительного исповедания. Это — не столько автопортрет или рассказ о самом себе, сколько описание возлюбленных человеком сокровищ, воспринятых, претворенных им и «усвоенных» [Флоровский, 2005, с. 197–198]. Флоровский еще четче подчеркивает обозначенный Бицилли автобиографизм мировоззрения. Кроме того, его вхождение в проблему «личность и мировоззрение эпохи» осуществляется, условно говоря, «из личностной точки», подчеркивается активность индивидуального самоопределения, ответственность «отбора» и выбора мира для своего «обитания». И такая позиция оказывается взаимодополнительной по отношению к исследовательской стратегии Бицилли в рамках единого для двух ученых представления об исходном автобиографизме мировоззрения. Напомню, в последующие годы Г.В. Флоровский, ставший одним из самых известных православных богословов и священников, будет развивать концепцию неопатристического синтеза. Важнейшей же составляющей этой влиятельной современной теоретической парадигмы православия является христианский персонализм. Многочисленные исследователи творчества о. Георгия ищут истоки его концепции, но пока еще мало кто серьезно и глубоко обращается к традициям «альма-матер» Г. Флоровского и П. Бицилли — историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета.

П.М. Бицилли, как и представители школы «Анналов», сосредотачивает внимание не столько на выборе предметного мира, сколько на его предзаданности, преднаходимости. В этом контексте его интересует «средний», «типический», и даже «пошлый» Салимбене: он «поверхностен и мелочен; он не умеет сосредоточиться и уйти с головою во что-либо. Его интересует

все, что угодно. В его мелкой и невозмутимой душе отражаются, как на глади пруда, все впечатления, которые давал ему его богатый содержанием век, и все бури этого века подергивают ее легкой рябью» [Бицилли, 2006, с. 236]. Весь репертуар «предметных миров» эпохи, которые могут быть избраны для индивидуально-личностного «обитания» отражаются в «ординарном», «дюжинном» сознании и в автобиографическом свидетельстве. Отражаются, в том числе, и как «возможные миры» в своем «потенциалесе» (термин немецкого феноменолога Б. Вальденфельса) [Вальденфельс, 1999, с. 105–123].

72 В начале прошлого века методология работы со «средним», «типическим» индивидуальным сознанием эпохи только начинала складываться, она была предметом дискуссий. Одна из них представлена на страницах исследования П.М. Бицилли. Ученый уточняет свое понимание в полемике с Л.П. Карсавиным, анализируя его работу «Основы средневековой религиозности XII–XIII», вышедшую в 1915 году [Карсавин, 1915]. (На этот труд ссылаются современные исследователи, говоря о том, что в первой четверти XX века ученые разных стран Европы открывали для себя новую область исследований, за которой потом закрепилось французское название «история ментальностей». Л. Карсавин называется наряду с Й. Хейзинга, М. Блоком¹. Жаль, что в этом перечне фамилия П.М. Бицилли отсутствует). Карсавин, изучая «религиозный фонд» эпохи, оперирует понятием «носитель религиозного фонда», подразумевая под ним предполагаемого «среднего человека». Он считает методологически необходимым изучать «среднее (религиозный фонд) по индивидуумам», через личностное измерение культуры познавать ее надындивидуальные феномены. При этом в качестве «средних» и «типических индивидуальностей» предстают, прежде всего, выдающиеся персонажи эпохи, а типическое понимается как «распространенное», «бросающееся в глаза» и даже «гипертрофированное».

Признавая в целом правомерность такого подхода, П.М. Бицилли вносит существенные уточнения. Он прибегает к

¹ См., например, [Кром, 2000].

различию «квантитативного» (количественного) и «квалитативного» (качественного), различию, которое стало сегодня одним из основных в современной гуманитаристике. Бицилли критикует своего коллегу за то, что, говоря о «типичности» и даже «гипер-типичности» героев эпохи, он неосознанно пользуется количественными параметрами. В частности, в примере, приводимом Бицилли по тексту Карсавина, великие подвижники духа — «более мистики», «сильнее мистики», чем самые ординарные «тоже мистики». «То, что «типично» для целой толпы галлюцинов, неврастеников и кликуш, вовсе не «типично» для героев духа, выработавших свои особые пути приближения к Богу... Нельзя сказать, чтобы св. Бернард был «более мистиком», «сильнее мистиком», чем какая-нибудь сестра Адельгейда. Но он — мистик *по-иному* (курсив П.Б.)» [Бицилли, 2006, с. 237]. Различие не количественное, а качественное. Каждый из «малых сих» представляет свою эпоху *по-иному*, создавая свою неповторимую конфигурацию из «общего культурного фонда эпохи», даже в актах типизации, вульгаризации и опошления гениальных идей героев эпохи.

73

Я еще раз возвращаюсь к понятию «потенциалис», предлагаемому Б. Вальденфельсом. Один из его смысловых оттенков — способность всякого порядка «быть иным». И в этом контексте при «квалитативном» подходе мы обнаруживаем в траекториях индивидуальных сознаний и судеб конкретно-историческую и биографическую развертку потенциалиса надындивидуального менталитета эпохи. А историк наблюдает эту развертку как «причудливую игру более или менее искаженных идей в пределах индивидуального сознания «среднего человека», идей самого разнообразного происхождения и характера...», как удивительную способность «...включить в свой умственный и нравственный обиход множество духовных ценностей, руководствуясь исключительно их «авторитетностью»...», как потрясающее умение «обывателя» нагромоздить в своей квартире «всех «Людовиков», не особенно беспокоясь о единстве стиля» [Бицилли, 2006, с. 239]. Автобиография Салимбене как раз и позволяет феноменологически, в режиме микровидения описать эту социокультурную практику («габитус» в

терминологии Бурдые) «всеядности», превращения идейных, политических, религиозных «бурь эпохи» в «легкую рябь» разностильных «Людовиков». И в этом смысле хронике Салимбене просто нет цены.

74 Бицилли подчеркивает, что автобиография среднего человека для эпохи Средневековья — отнюдь не ординарное явление. Для XIII века этот документ — почти единственный памятник такого рода. Приступая к нему с новым для своего времени мировоззренческим и методологическим инструментарием, П.М. Бицилли говорит и о еще одном принципиальном затруднении — о «заколдованном круге», куда попадает любой исследователь «изучающий отдельную личность в целях характеристики ее эпохи» [Бицилли, 2006, с. 239]. Это хорошо известная фигура «герменевтического круга», имеющего разные модификации. В данном случае ставится задача реконструировать общие черты духовной жизни европейского средневековья (целое) через реконструкцию мировоззренческого, религиозного, культурного строя одного из ее представителей (часть). Однако пред условием такой реконструкции будет базовое представление об «общем культурном фонде». Круг замкнулся. Где же выход? П.М. Бицилли предлагает единственный возможный путь, еще не гарантирующий успеха: не приписывать своим предварительным концепциям окончательное значение. И это как раз то методологическое и методическое требование, которое воплощено в современных исследовательских стратегиях современной социологии и культурологии, как раз выросших из практики работы с «личными», «человеческими», автобиографическими» документами. Прежде всего, стоит указать на grounded theory («обоснованную теорию» или «восхождение к теории» (А. Штраус, Б. Глейзер) и на thick description («насыщенное описание» К. Гирца).

И еще одно герменевтическое правило выполняется П.М. Бицилли при работе с Хроникой Салимбене: специфика предмета исследования диктует способы его описания. Историк сетует на то, что его работа страдает нестройностью изложения, неравномерностью частей, частыми отступлениями. «Некоторым оправданием послужит мне свойство источника, над кото-

рым я работал, и личность человека, которого я изучал. Хроника Салимбене так пестра по своему составу, касается такого множества предметов, ее автор прожил такую разнообразную жизнь, перевидал столько людей, вращался в стольких общественных кругах, что мне поневоле пришлось, рассматривая Салимбене в связи с окружающей его обстановкой, делать экскурсии в самые разнообразные области» [Бицилли, 2006, с. 240].

То, что в традиции классического типа науки видится как недостаток, в контексте современного этапа развития гуманитарного знания предстает как достоинство. Сила систематизации, генерализации, упорядочивания уступает здесь свои права власти понимания, сопричастности, конгениальности, доверия и даже «любящего созерцания». П.М. Бицилли кажется, что он поддался «внешней форме» и даже внешней «бесформенности» своего источника и своего героя, потерпев определенное поражение. А нам представляется, что он воспроизвел «внутреннюю форму» жизни и текста своего негероического героя, что еще классики универсальной герменевтики называли «триумфом воспроизводящей конструкции» (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей). Такой триумф дает надежду на то, что «у каждого смысла будет свой праздник возрождения» [Бахтин, 1986, с. 381–393]. На это, размышляя о Большом времени и о диалоге культур, нацеливал гуманитарное знание М.М. Бахтин — еще один знаменитый студент историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета, правда так и не получивший диплом. (Стоит заметить, что документально факт обучения М. Бахтина в университете Одессы пока не подтвержден. Исследователи пока полагаются лишь на свидетельства самого Михаила Бахтина, приводимые им в воспоминаниях. Однако библиографы научной библиотеки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова по нашей просьбе тщательно изучили списки студентов ИНУ того периода и вынесли вердикт: в списках не значится. Возможно, Бахтин был вольнослушателем).

В настоящей публикации мы обозначили лишь общие методологические приоритеты, которые Петр Михайлович Бицилли формулирует в предисловии к своему «Салимбене». Идеи выдающегося ученого-гуманитария удивительно созвучны тен-

денциям современной гуманитаристики, в том числе, связанным с «биографическим поворотом». Однако обращение к ним продиктовано не только сожалением о том, что они не вошли в научный оборот Humanities вовремя и полноценно. Мы убеждены, что эффект идей Бицилли может быть не «догоняющим», а «обгоняющим». Сделанный в конце XIX — начале XX века смысловой акцент на «индивидуализацию», на онтологизацию языка наряду с деонтологизацией самой объективной реальности, на фрагментацию и множественность перспектив наряду с отказом от метанарратива приводит к концу XX — началу XXI века к мировоззренческим и методологическим кризисам и тупикам. И в этой ситуации труды П.М. Бицилли, написанные почти столетие назад, обнаруживают свой мировоззренческий, терапевтический и «антропоспасительный» эффект, скрытый от нас ранее. «У каждого смысла есть свой праздник возрождения...».

76

Эта статья родилась на пересечении двух исследовательских интересов автора. Во-первых, на философском факультете ОНУ имени И.И. Мечникова многие годы действовал теоретический семинар по проблемам биографического метода. Его руководитель, д. филос. н., профессор Ирина Яковлевна Матковская, была инициатором проведения нескольких научных конференций по данной тематике и научным консультантом докторской диссертации, посвященной феномену биографии в культуре [Curriculum Vitae, 2009; Голубович, 2009]. Студентам философам и культурологам читается спецкурс «Основы теоретической биографистики».

Во-вторых, на факультете с 2009 года действует научно-исследовательский и образовательный Центр имени Г.В. Флоровского, одна из задач которого — актуализация творческого наследия ученых и преподавателей историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета, среди которых известные в дореволюционной России имена: Н.Я. Грот, Н.Н. Ланге, Ф.И. Успенский, Н.П. Кондаков и др. (Подробная информация о Центре и хроника его заседаний размещена на сайте философского факультета ОНУ — <http://www.philosof.onu.edu.ua/> и на сайте Общества рус-

ской философии при Украинском философском фонде — <http://orf-uff.org.ua>). В рамках Центра были проведены чтения памяти П.М. Биццлли [Curriculum Vitae, 2010], «философско-культурологическое биццллиеведение» выделилось в отдельное направление, где тема «автобиография в культуре» является одной из центральных.

Литература

Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г.Бочаров. М.: Искусство, 1986. С. 381–393.

Биццлли П. М. Салимбене (Очерки итальянской жизни XIII века). Одесса: Зап. Имп. Новорос. Ун-та, ист.-филол. Факультета. Вып. 12, 1916; *Биццлли П. М.* Салимбене (Очерки итальянской жизни XIII века) // *Биццлли П.М.* Избранные труды по средневековой истории. М.: Языки славянской культуры, 2006.

Валевский А. Л. Основы биографики. К.: Наукова думка, 1993.

Вальденфельс Б. Порядок в потенциале / Пер. с нем. Т.Щитцовой // Вальденфельс Б. Мотив чужого: Сб. пер. с нем. Минск: Пропилеи, 1999. С. 105–123.

Curriculum Vitae. Вып. 2: Творчество П.М.Биццлли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета / Ред. коллегия: Довгополова О.А., Голубович И.В. Одеса: ФОРМ „Фрідман О.С.“, 2010.

Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities (методология анализа в социогуманитарном знании). Одесса: ФЛП Фридман, 2008.

Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII — XIII веках (преимущественно в Италии). Петроград: Типография «Научное дело», 1915.

Кром М.М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. СПб-б: Дмитрий Буланин, 2000.

Попова Т.Н. Бициллиеведение: Проблемы институционализации // Curriculum Vitae. Сборник научных трудов. Вып. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета. Одесса: ФОР «Фридман О.С.», 2010. С. 15–27.

Пруст М. Против Сент-Бева: Статьи и эссе / Пер. с франц. Т. В. Чугунова. М.: ЧеРо, 1999.

Соловьев Э. Ю. Биографический анализ как вид историко-философских исследований // *Соловьев Э.Ю.* Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 19–52.

Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма // *Флоровский Г.В.* Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии / Сост. И.И.Евлампиев. СПб.: РХГА, 2005. С. 197–198.

Эткинд А. «Новый историзм», русская версия // Новое литературное обозрение, 2001, № 47. С. 78–102.

78

Curriculum Vitae. Збірник наукових праць / Редактори І. В. Голубович, О. А. Довгополова. — Вип. 1. Біографічний метод у гуманітарному знанні. Одеса: ФОР Фридман О. С., 2009.

Голубович І. В. Біографія як соціокультурний феномен (філософсько-методологічний аналіз) // Автореферат... докт. філос. наук. Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2009.

Менжулін В. І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні [Текст] / *В. І. Менжулін.* К. : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2010.

Brooke-Rose Chr. The dissolution of character in the novel // Reconstructing individualism: Autonomy, individuality, and the self in western thought / Ed. by Heller Th. et al. Stanford, 1986. P. 184–196.

Greenblatt St. Introduction // Genre. Special issue: The Forms of Power and Power of Forms in the English Renaissance. 1982. V.5. № 1–2. P. 1–4; *Greenblatt St.* Towards a Poetics of Culture // The New Historicism. Routledge. N.Y.;L., 1989. P. 1–14.

АНАЛИЗ

Александр Харченко

Образ и биография

Луция Сергия Катилины: от мифа к мифу

Образ Луция Сергия Катилины — один из наиболее ярких в античной письменной традиции. Главные создатели этого образа — Марк Туллий Цицерон и Гай Саллюстий Крисп — оставили множество самых разных сведений о Катилине. Кроме того, о нем сохранили упоминания более десятка античных историков. В отсутствие эго-документов, оставленных человеком античной эпохи, наличие столь многочисленных свидетельств о нем, казалось бы, должно служить надежной основой для реконструкции его биографии. Однако целостной биографии Катилины — такой, которая охватывала бы все периоды его жизни — до сих пор не создано. Да и тех сочинений, в которых историки ставили перед собой цель создать его биографию, — единицы. В чем же причина этого? Возможно ли вообще создание биографии Катилины? И какое влияние оказал созданный античной традицией образ Катилины на попытки написания его биографии? На эти вопросы мы и попытаемся ответить в настоящей статье.

Прежде всего, следует перечислить все события из жизни Катилины, описанные античными авторами. Рожденный в 108 г. до н.э., он происходил из патрицианского рода, известного в Риме главным образом благодаря Марку Сергию Силу, участнику Второй Пунической войны. Катилина также прошел военную школу, сражаясь в армии Суллы и участвуя в карательных акциях, проводившихся по воле последнего. В 73 г. до н.э. Катилина впервые подвергся судебному преследованию. Его обвинили в соращении весталки Фабии, что расценивалось как святотатство и каралось смертью. Однако процесс завершился оправданием Катилины. Затем он женился на знатной матроне Аврелии Орестилле. Дату брака античные авторы не указывали, зато

утверждали, что Катилина убил собственного сына, т.к. Аврелия боялась иметь взрослого пасынка.

82 В 68 г. до н.э. он стал претором, а год спустя — пропретором провинции Африка. Вернувшись в Рим, Катилина выдвинул свою кандидатуру на выборах в консулы. Но его вновь привлекли к суду: на сей раз основанием разбирательства послужила жалоба жителей провинции Африка на беззастенчивый грабеж Катилиной этой провинции. Патриций снова был оправдан, но участие в судебном процессе лишило его права участвовать в консульских выборах. В 66 г. до н.э., по сообщению Саллюстия, Катилина совместно с Публием Автронием Петом и Гнеем Пизоном организовал заговор с целью убийства консулов и захвата власти. Однако замысел заговорщиков сорвался из-за Катилины, подавшего знак сообщникам, не дождавшись, пока они соберутся «в нужном числе» (*Sall. Bel. Cat.* 18. 2—8). Между тем, Светоний указывает, что истинными организаторами этого заговора были Красс и Цезарь, причем ссылается на четырех других авторов, в т.ч. Цицерона (*Suet. Iul.* 9. 1—2). Следовательно, нет веских оснований считать это событие эпизодом из жизни Катилины, хотя многие исследователи включают этот «первый заговор Катилины» в его биографию.

В 64 г. до н.э. Катилина опять попытался получить должность консула. Против его кандидатуры были настроены многие представители сенатского и всаднического сословий. Они обеспечили победу на выборах Цицерону и Гаю Антонию Гибриде; по числу набранных голосов Катилина оказался на третьем месте. В 63 г. до н.э. он вновь участвовал в консульских выборах и вновь проиграл: консулами были избраны Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена. Тогда-то и произошли события, вошедшие в историю как «заговор Катилины».

Недовольный своими неудачами на выборах, Катилина создал своего рода «кружок», объединивший в основном молодых и обремененных долгами выходцев из патрицианских родов. На собраниях этого «кружка» обсуждалась возможность захвата власти, отмены долгов, репрессий сенаторов. Для обеспечения военной поддержки предполагавшегося переворота Катилина связался с сулланским ветераном Гаем Манлием. По-

следний должен был собрать войско в Этрурии и двинуться к Риму. Однако Цицерон благодаря своим осведомителям знал об этих намерениях и приготовлениях. И в первых числах ноября 63 г. до н.э. Цицерон выступил в сенате с первой речью против Катилины, изрядно очернив его и обвинив в заговоре с целью уничтожения государственного строя. На следующий день Катилина покинул Рим, направившись в Этрурию — к собранному Манлием войску. Несколько позднее самые влиятельные из оставшихся в Риме соратников нашего героя были казнены, а Катилина и Манлий — провозглашены «врагами отечества». Против их отряда были направлены два войска. С тем, которое возглавлял Гай Антоний Гибрида, и сразился отряд Катилины около города Пистории в январе 62 г. до н.э.¹ Отряд был полностью уничтожен; погиб и Катилина.

Как видим, самые подробные сведения о жизни Катилины относятся к 64 — началу 62 гг. до н.э., когда он находился в поле пристального внимания Цицерона. Именно последний начал формировать образ своего противника, наиболее полно раскрытый в уже упоминавшихся речах Цицерона против Катилины — так называемых Катилинариях. Мы остановимся на двух аспектах этих речей — формировании образа Катилины и биографических данных о нем, приводимых Цицероном.

В первой Катилинарии образ мятежного патриция поначалу раскрывается через его намерения — «резней и поджогами весь мир превратить в пустыню» и уничтожить «храмы бессмертных богов, городские дома, всех граждан, всю Италию» (*Cic. In Cat. I. I. 3; V. 12*). Затем консул адресует Катилине целый ряд обвинений в распутстве: «Каким только бесстыдством не ославил ты себя в своей частной жизни? Каким только непристойным зрелищем не осквернил ты своих глаз, каким деянием — своих рук, какой гнусностью — всего своего тела?» (*Cic. In Cat. I. VI. 13*). Несколько раз Цицерон отмечает решительность и вспыхивающий нрав Катилины (*Cic. In Cat. I. I. 1; II. 2; X. 25*). Наконец, консул, хоть и с издевкой, говорит о способности свое-

¹ Саллюстий сообщает, что в бою войско возглавил легат Антония Марк Петрей, поскольку сам Антоний из-за болезни не мог осуществлять командование (*Sall. Bel. Cat. 59. 4*).

го врага легко переносить голод, холод и бессонницу (*Cic. In Cat. I. X. 26*).

Во второй речи Цицерон, вновь указав на склонность Катилины к преступлениям и разврату (*Cic. In Cat. II. V. 9*), основное внимание сосредоточил на его окружении, выделив среди них шесть групп (*Cic. In Cat. II. VIII.18—X.23*). Соответственно, Катилина должен был вобрать в себя все пороки, присущие каждой из групп его сообщников. «Найдется ли во всей Италии отравитель, гладиатор, убийца, братоубийца, поддельватель завещаний, злостный обманщик, кутила, мот, прелюбодей, беспутная женщина, развратитель юношества, испорченный или пропащий человек, которые бы не сознались, что их связывали с Катилиной тесные дружеские отношения?» (*Cic. In Cat. II. V. 8*). Оратор счел нужным акцентировать внимание аудитории на со-
84
вращении Катилиной юношей и на его дружбе с гладиаторами и актерами (*Cic. In Cat. II. II. 4; IV. 8 — V. 9*). И то, и другое было крайне оскорбительно для римского патриция, и должно было максимально опорочить Катилину.

Последующие две речи почти ничего не добавляют к образу Катилины. Лишь в третьей Катилинарии оратор счел нужным подчеркнуть коварство своего врага, который «умел подойти к любому человеку... осмеливался привлекать к себе людей, выведывать их мысли, подстрекать их» (*Cic. In Cat. III. VII. 16—17*). Впрочем, спустя 7 лет, защищая Марка Целия Руфа, которому, помимо прочего, инкриминировалась дружба с Катилиной, Цицерон нарисовал иной образ — полный противоречий. Он указал, что в характере Катилины сосуществовали изнеженность и трудолюбие, алчность и щедрость, распущенность и выносливость, коварство и храбрость. Поражаясь противоречивости этих качеств, Цицерон заявил, что «на земле никогда не было такого чудовища, сочетавшего в себе столь противоположные и различные и борющиеся друг с другом прирожденные стремления и страсти» (*Cic. Pro Caelio. V. 12 — VI. 14*).

Что до биографических данных, которые позволили бы усилить впечатление о преступлениях обвиняемого, то их в Катилинариях почти нет. Исключение составляют упоминание о «полном разорении» Катилины, намек на причастность патри-

ция к смерти его первой жены и убийство собственного сына, и намек на его участие в репрессиях периода правления Суллы (*Cic. In Cat. I. VI. 14; VII. 18*). Скорее всего, привлечение множества подробностей биографического характера не входило в задачу оратора, писавшего речи, призванные создать и поддерживать чувство опасности, исходившей от его противника. И все же «отбор» сведений о жизни Катилины, оставшихся в анналах истории, начал Цицерон — правда, не Марк Туллий, а его брат Квинт. Сделал он это в своем небольшом трактате, написанном в 64 г. до н.э., в связи с предстоящим участием Марка в консульских выборах. Квинт Туллий Цицерон перечисляет злодеяния «возмужавшего среди убийств граждан» Катилины, которые в своих выступлениях должен упомянуть и его брат. К таковым относятся участие — во главе отряда галлов — в истреблении группы римлян из сословия всадников (по приказу Суллы), убийство брата своей жены Квинта Цецилия, убийство патриция Марка Мария Гратициана, чью голову он отрубил «правой рукой, схватив ее за волосы левой рукой у темени, и затем сам понес голову, а у него между пальцами ручьями текла кровь» (*Q. Cic. Comm. pet. III. 9—10*). Также автор трактата упомянул и о развратных действиях Катилины, обещавшего как женщин, так и юношей, и о процессе, возбужденном против него по просьбе жителей провинции Африка. Примечательно, что в заключительной части своей работы Квинт Цицерон призвал брата заботиться о том, чтобы о его «соперниках распространялись соответствующие их нравам позорные слухи, если только это возможно, — либо о преступлении, либо о разврате, либо о мотовстве» (*Q. Cic. Comm. pet. XIII. 52*).

Марк Цицерон прилежно выполнил наставления своего брата. Фрагменты его предвыборной речи, сохранившиеся в труде грамматика Аскония, показывают, что он поведал аудитории (речь произносилась в сенате) и о суде над Катилиной по обвинению в грабеже населения Африки, и о его разврате, и об убийствах. При этом кандидат в консулы проявил творческий подход, что особенно хорошо заметно на примере эпизода с убийством Гратициана. Он отметил, что Катилина голову убитого им патриция, «еще живую и дышащую, понес Сулле в своих руках с

Яникульского холма до храма Аполлона» (*Ascon. In toga cand. 80*). Далее мы увидим, что данной импровизацией на заданную тему великий оратор словно показал пример всем последующим авторам античной эпохи, писавшим о Катилине.

86 Свой образ Катилины создал Саллюстий в монографии «О заговоре Катилины». Тему сочинения он выбрал, считая этот заговор «наиболее памятным из всех по беспримерности преступления и его опасности для государства». При этом историк полагал, что Катилину породили «испорченные нравы гражданской общины, страдавшие от двух наихудших противоположных зол: роскоши и алчности» (*Sall. Bel. Cat. 4. 4; 5. 8*). В ряде случаев характеристики Катилины у Саллюстия и Цицерона совпадают. Замечание историка о том, что «телом он был невероятно вынослив в отношении голода, холода, бодрствования» (*Sall. Bel. Cat. 5. 3*), перекликается с аналогичными высказываниями Цицерона о выносливости Катилины. То же наблюдается и когда Саллюстий говорит о коварстве мятежного патриция (*Sall. Bel. Cat. 5. 4*), и когда замечает, что последнему смолоду «были по сердцу междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские смуты» (*Sall. Bel. Cat. 5. 2*), и когда утверждает, что «близкими Катилине и своими людьми для него» были лица, виновные абсолютно во всех преступлениях, какие только можно было совершить (*Sall. Bel. Cat. 14. 2—3*).

Вместе с тем, Саллюстий обнаружил собственное отношение к биографическим данным о Катилине. С одной стороны, там, где Цицерон лишь намекал на убийство собственного сына или на кощунственную связь с весталкой, Саллюстий писал о том, что патриций повинен в этих деяниях и что «в ранней молодости Катилина совершил много гнусных прелюбодеяний» (*Sall. Bel. Cat. 15. 1—2*). С другой стороны, историк отрицал склонность нашего героя к соращению юношей, а также усомнился в достоверности сведений о том, что на одном из «тайных» собраний он, «заставив сообщников присягнуть в верности его преступным замыслам, обнес их чашами с человеческой кровью, смешанной с вином» (*Sall. Bel. Cat. 14. 7; 22. 1—4*). И в отличие от Цицерона, Саллюстий нигде не упоминает о причастности Катилины к убийствам Цецилия и Гратидиана.

Историк не ограничился перечислением всех этих деталей. Для него не только личные качества Катилины, его характер были насквозь пропитаны пороками — даже внешность выдавала в нем преступника. Так появился один из самых ярких портретов, созданных античной традицией: «лицо его было без кровинки, блуждал его взор, то быстрой, то медленной была походка. Словом, в выражении его лица сквозило безумие» (*Sall. Bel. Cat. 15. 5*).

Так сложились основные черты образа и биографии Катилины. В дальнейшем голоса Цицерона и Саллюстия, обличавшие мятежного патриция, стали звучать многократно усиливающимся эхом. В итоге, набор биографических данных о Катилине не претерпел существенных дополнений, зато ряд эпизодов его биографии подвергся известной переработке. Так, сообщения братьев Цицеронов и Саллюстия об участии нашего героя в войне Мария и Суллы на стороне последнего было дополнено указанием на то, что Катилина был не только «ревностным сторонником Суллы», но и его другом (*Appian. Bel. Civ. II. 2*). Убийство собственного шурина, приписывавшееся патрицию Квинтом Цицероном, трансформировалось в убийство собственного брата (*Plut. Cicero. X; Sulla. XXXII*). Современники Катилины обвиняли его в различных прелюбодеяниях, воздержавшись от обвинения в кровосмешении. Плутарх восполнил этот пробел, утверждая, что наш герой «навлек на себя обвинение в сожительстве с своей дочерью» (*Plut. Cicero. X*). Этот же автор предложил и свою вариацию эпизода с убийством Катилиной Гратидиана, охарактеризовав жертву как «человека из стана противников Суллы» и сообщив, что Катилина принес голову убитого Сулле на форум, а не в храм Аполлона; в последнем он лишь омыл руки (*Plut. Cicero. X; Sulla. XXXII*).

Венцом «творческого осмысления» биографии Катилины стала трансформация эпизода о коллективном принятии им и его соратниками человеческой крови. Если Саллюстий сам этот эпизод считал не вполне достоверным, то позднейшие авторы не только отвергали все сомнения в его правдивости, но словно соревновались друг с другом в изощренности его интерпретации. Напомним, что, согласно Саллюстию, «заговорщики», в знак

нерушимости данных ими клятв, смешали человеческую кровь с вином и выпили эту смесь. Флор не упомянул о вине, написав о чашах с кровью (*Flor.* II. XII. IV. 1). Плутарх поведал о том, что Катилина и его сообщники съели мясо человека, принесенного ими в жертву (*Plut. Cicero.* X). Дион Кассий сумел детализировать и это описание: мятежный патриций «принес в жертву мальчика и, произнеся клятвы над его внутренностями, съел их вместе со всеми» (*Dio Cass.* XXXVII. 30. 3). Так, в результате всех отмеченных трансформаций биографических данных о Катилине, образ законченного злодея стал законченным.

88 Трансляцию представлений о Катилине в историографической традиции можно проследить с XIV в., когда Дж. Виллани создавал свою «Новую хронику». Он так охарактеризовал Катилину: «человек беспутной жизни, но смелый и отважный боец, прекрасный оратор, хотя и не очень благоразумный» [Виллани, 1997, с. 25]. Весь контекст экскурса о Катилине говорит о том, что при его написании хронист опирался в основном на Саллюстия. Но имеется ряд деталей, не встречающихся в античной традиции. К таковым можно отнести подковывание, по инициативе Катилины, лошадей «задом наперед»; огромные потери консульского войска, из-за которых победители постыдились возвращаться в Рим; основание города Пистойи уцелевшими бойцами войска Катилины [Виллани, 1997, с. 27—28]. Это показывает, что память о нашем герое — по крайней мере, в ряде регионов Италии — жила не только благодаря трудам античных авторов. Возможно, какие-то сюжеты, связанные с деятельностью Катилины, складывались и развивались в устной традиции местного населения. В этой связи примечательно то, что старейшая из сохранившихся башен на территории современного города Пистойи называется *Torre di Catilina* (башня Катилины), а улица, идущая от этой башни — *Tomba di Catilina* (могила Катилины).

Свою роль в возвращении образа Катилины в поле исторического нарратива сыграл Никколо Макиавелли. Сам мыслитель непосредственно образа и биографии его не касался, лишь дважды упомянув Катилину. Нам интересно первое упоминание, где Макиавелли указывает на явно апологетический тон био-

графий Цезаря, резко противоположный традиции о Катилине. Он недоумевает по данному поводу, поскольку, на его взгляд, Цезарь и Катилина — злодеи; однако первый — злодей по своим поступкам, второй — лишь по замыслам [Макиавелли, 1997, с. 139]. Хотя Катилине Макиавелли уделил всего несколько строк, именно его творчество послужило толчком к созданию первого прозаического произведения о нашем герое — памфлета Т. Гордона.

Впрочем, собственно биографическим данное сочинение назвать трудно. Это — своего рода политический трактат о природе и причинах заговоров, основанный на материал античной традиции о Катилине. В первой части сочинения Т. Гордон создает образ Катилины, практически неотличимый от созданного Саллюстием, взглядами которого на упадок нравов в римском обществе он перемежает суждения Макиавелли о заговорах. Автор памфлета обращает внимание на неоднозначность личности Катилины, указывая на благородство его устремлений, запечатленное в речи бунтаря-патриция, приведенной Саллюстием [Gordon, 1721, p. 42–47]. Вторая часть сочинения ничего не добавляет к созданному Т. Гордоном образу Катилины, не считая оригинальной идеи о том, что он был эпикурейцем [The conspirators..., 1721, p. 38–42].

В историографии Нового времени при изучении феномена Катилины доминировал подход, основанный на полном доверии к античным авторам, писавшим о нем. Одни антиковеды отмечали разнообразие и противоречивость личных качеств Катилины, описанных Цицероном и Саллюстием, отдавая приоритет сообщениям последнего. При этом вердикт, выносимый ими нашему герою, был максимально строгим: Б.Г. Нибур заявлял, что нет в истории никого другого, кто был настолько «дьявольским» [Niebuhr, 1853, p. 12–13], а Т. Моммзен считал, что «Катилина был нечестивее всех в это нечестивое время. Его мошеннические проделки представляют материал для криминалиста, а не для историка» [Моммзен, 1999, с. 115]. Другие исследователи игнорировали запечатленную Цицероном и Саллюстием противоречивость личных качеств патриция. Этими особенностями обладает опубликованная в словаре «*Bibliotheca classica*» не-

большая заметка о Катилине, которую формально можно посчитать первой работой биографического характера о нем. К стандартному набору биографических данных (изнасилование весталки, убийство собственного брата, «заговор») добавилось утверждение, что войско мятежного патриция было недисциплинированным, хотя сам он пал смертью храбрых [Lempriere, 1838]. Однозначно негативной оценкой личности и деятельности Катилины характеризуются также экскурсы о Катилине в обобщающей работе Т. Кейтли и магистерская диссертация Э.Р. фон Штерна [Keightley, 1848, p. 375–381; Stern, 1883].

90 Особняком стоит статья, написанная в 30-х или начале 40-х гг. XIX в. У. Рэмсеем для «Словаря греческой и римской биографии и мифологии» — самый обстоятельный биографический очерк о Катилине, созданный в XIX в. Автор проявил гораздо больше внимания к текстам античных авторов, нежели многие его коллеги. Хотя он не сомневался, что Катилина убил своего шурина, но счел сообщение Плутарха об убийстве патрицием своего брата «путаницей», допущенной этим автором. Также У. Рэмсей отметил, что Катилина «навлек на себя подозрение в интриге с весталкой Фабией», не став приписывать нашему герою ее соращение [Catilina, 1867, p. 629]. Наконец, всецело доверяя Саллюстию, исследователь указал на односторонность освещения фигуры Катилины античной традицией в целом и на предвзятость Цицерона — в частности [Catilina, 1867, p. 633].

Во второй половине XIX в. были предприняты первые попытки пересмотреть сложившиеся представления об образе и биографии Катилины. Наполеон III в своей «Истории Юлия Цезаря» отметил, что Катилина был не более порочен, чем многие представители римской знати. Также Наполеон III посчитал сомнительными сообщения о намерениях нашего героя устроить массовую резню и поджоги: не мог же он мечтать о том, чтобы властвовать на пепелище среди трупов и руин [History..., 1865, p. 358]. Тем не менее, император дал негативную оценку Катилине, ибо тот собирался вооруженным путем свергнуть законное правительство [History..., 1865, p. 379]. Однако и такая — негативная, но расходящаяся с античной традицией — оценка вызвала резкое неприятие одного из биографов Цицерона, У. Форсайта.

Возражая Наполеону III, он счел нужным «заклеймить Катилину как одного из худших людей в худший период римской истории», а затем повторил описание внешности патриция, данное Саллюстием, и указал, что личные качества Катилины точно охарактеризованы Цицероном и Саллюстием [Forsyth, 1869, p. 105].

В 1865 г. увидел свет биографический очерк Э.С. Бисли, автор которого вписал деятельность Катилины в контекст политической борьбы в Риме периода Поздней Республики. И здесь патриций предстал не беспринципным авантюристом, стремившимся лишь к захвату власти, но лидером «революционной партии» (так Э.С. Бисли именовал популяров), преемником Гракхов и предшественником Цезаря [Beesly, 1878, p. 16, 35]. Автор первым обратил внимание на то, что обвинение Катилины в убийстве Гратидиана и Цецилия исходит от братьев Цицеронов, стремившихся дискредитировать своего политического противника. И если убийство Гратидиана произошло за 18 лет до консульских выборов с участием Катилины и Цицерона, то кто из римлян, внимавших предвыборной речи последнего, мог помнить обстоятельства и подробности этого преступления? [Beesly, 1878, p. 20 — 22]. Наконец, Э.С. Бисли — опять же впервые — указал на противоположность характеров Цицерона и Катилины как возможную причину их взаимной неприязни. Цицерон был мыслителем и искусным оратором, считавшим произнесение речей залогом успеха в политической борьбе. Катилина же был «человеком действия», практиком, ставившим решительные действия выше разговоров [Beesly, 1878, p. 35—36].

Долгое время позиция Э.С. Бисли не имела сторонников. И лишь в 1898 г. вышел очерк Е. Орлова о Цицероне, ряд положений которого был во многом созвучен идеям британского исследователя. Так, автор очерка, именуя «демократами» популяров, а «аристократами» — оптиматов, считал Катилину лидером «демократического движения». Последний, ратуя за улучшение жизни разорившихся римлян и италиков, стремился к консульству, но «аристократы» чинили ему препятствия. Поэтому Катилина был вынужден собирать войско, дабы началась «война эксплуатированных против эксплуататоров, подобная той, какую 15

лет спустя повел с таким успехом Цезарь». Таким образом, средства борьбы мятежного патриция «не заключали... в себе ничего заговорщицкого» [Орлов, 1991, с. 77]. Пожалуй, здесь впервые в историографии — пускай и походя — было озвучено сомнение в существовании «заговора Катилины». Все сообщения Цицерона и Саллюстия о Катилине автор счел заведомой клеветой на представителя враждебной политической группировки [Орлов, 1991, с. 74–75]. Отношение Цицерона к Катилине Е. Орлов объяснял социальным происхождением оратора, являвшегося выходцем из «коммерческой буржуазии того времени — сословия всадников» [Орлов, 1991, с. 72]. Так проявилось применение «классового подхода» к проблемам персональной истории задолго до становления советской историографии.

92 Наступил XX в., и взгляд на феномен Катилины стал меняться даже у тех, кто продолжал считать его воплощением всех пороков. Так, Г. Ферреро, именуя Катилину «самым опасным» из «банды мятежников, желавших лишь разграбить имение богачей», считал слухами распространявшиеся во время кампании по выбору консулов на 62 г. до н.э. сведения о подготовке вооруженного восстания [Ферреро, 1997, с. 169–170]. Цицерон предстал человеком, организовавшим целую сеть шпионов и хорошо понимавшим, что добытая ими информация была основана на предположениях и подозрениях, а не реальных фактах. Катилина же решился на вооруженное выступление лишь после оправдания Мурены, обвиненного в подкупе избирателей [Ферреро, 1997, с. 171, 173]. Таким образом, действия Катилины, несмотря на его низменные наклонности, были в известной мере вынужденными.

Вскоре увидела свет едва ли не самая подробная работа о Катилине. Ее автор, М. Колер, самым тщательным образом проанализировала все биографические данные о нем, сохраненные античной традицией. Интересен разбор эпизода с весталкой Фабией. Если в историографии укоренилось представление о ее соращении Катилиной, то М. Колер ограничилась замечанием о привлечении патриция к суду и последующем его оправдании. Правда, автор, в полном соответствии со сложившимися представлениями о Катилине, отметила, что он «был опасен для лю-

бой целомудренной женщины» [Koehler, 1920, p. 12]. Другим плюсом данной работы можно считать детальный анализ предвыборной речи Цицерона как источника о Катилине, до того почти не предпринимавшийся [Koehler, 1920, p. 18–19, 22–24]. В целом же М. Колер анализировала источники, полагая, что они содержат описания фактов, имевших место в действительности. Так или иначе, ее работа оказалась одним из последних биографических произведений о Катилине в антиковедении. Дальнейшее развитие этой дисциплины вывело изучаемую проблему на новый уровень, в чем заметную роль сыграли советские исследователи.

Естественно, после утверждения в отечественной исторической науке марксистской методологии исследователям приходилось видеть в каждой отдельной исторической личности выразителя интересов какого-либо класса или сословия. Это добавило новых красок в палитру интерпретаций образа и биографии Катилины. Одну из таких новых интерпретаций явил вышедший в 1934 г. очерк П.Ф. Преображенского. Автор указал на очевидную, но до него никем не проанализированную особенность основных источников о Катилине, сочинений Цицерона и Саллюстия, — их жанровую специфику. Отметив, что одной из главных задач этих авторов было создание яркого образа врага, П.Ф. Преображенский определил их описания Катилины как «стилизации в "черном"» [Преображенский, 1965, с. 69–71]. Как и Е. Орлов, автор усомнился в существовании «заговора Катилины», обратил внимание, что речь последнего, будто бы произнесенная им у себя дома, в кругу соратников (*Sall. Bel. Cat. 20*), не содержит ничего, что не могло бы быть произнесено на римском форуме. Возможно, Саллюстий намеренно изобразил эпизод с ее произнесением подобным образом, дабы «открытую политическую агитацию превратить в заговор» [Преображенский, 1965, с. 89]. Да и сравнение действий Катилины и Цицерона показывает, что первый последовательно пытался прийти к власти, добываясь консульства и пробуя собрать войско (плохо вооруженное) в отдалении от Рима; второй создал сеть осведомителей и окружил себя хорошо вооруженной охраной, действующей внутри города. П.Ф. Преображенский заключил, что ближе

к заговору стояли действия Цицерона и его сторонников, но по политическим соображениям в заговоре был обвинен их противник Катилина [Преображенский, 1965, с. 83, 91, 93–96].

Но и советское антиковедение с трудом преодолевало инерцию восприятия Катилины как законченного злодея. Авторы ряда работ, вышедших в 1940–1960 гг., в плане интерпретации биографии Катилины ничего не добавили к взглядам зарубежных исследователей первой половины XIX в. [Иванов, 1940; Радциг, 1959; Лившиц, 1960]. Показательна в этом отношении работа И.П. Стрельниковой. Она показала, как Цицерон в своих Катилинариях конструировал образы Катилины и его сообщников. Так, умело используя слова и обороты, традиционно употреблявшиеся римлянами в конкретных контекстах, оратор добивался того, чтобы аудитория ассоциировала Катилину с гладиатором и рабом, а всю группу заговорщиков — с нечистотами [Стрельникова, 1958, с. 141–144]. При этом исследователь практически не анализировала, в какой степени характеристики, данные Катилине Цицероном, обусловлены личными мотивами последнего. И это неудивительно, т.к. для И.П. Стрельниковой Катилина — «представитель морально разложившейся и промывавшейся римской знати, бывший сулланец, запятнавший себя во время проскрипций, прославившийся грабежом в провинциях, по свидетельству некоторых источников преступник в своей частной жизни» [Стрельникова, 1958, с. 112].

В свою очередь, С.И. Ковалев и Н.А. Машкин уделили основное внимание собственно «заговору Катилины», ограничившись лишь несколькими замечаниями о самом Катилине. Так, С.И. Ковалев отметил, что «его образ сильно искажен враждебной ему историографией и политической литературой (Саллюстием и Цицероном)», а наш герой был вполне обычным разорившимся патрицием, от своего окружения отличавшимся «только умом, энергией и широтой кругозора» [Ковалев, 1986, с. 416, 423]. Н.А. Машкин сделал акцент на трех особенностях образа Катилины — жажде власти, решительности и популярности (в том числе посмертной) среди римского плебса [Машкин, 2006, с. 320–324].

Между тем С.Л. Утченко в своей первой монографии поновому взглянул на личность и деятельность Катилины. Детально разобрав «теорию упадка нравов», изложенную в сочинении Саллюстия о Катилине, он отметил, что экскурс в историю Римского государства, сделанный в этом произведении, завершается описанием морального разложения римского нобилитета. Катилина же, в свою очередь, являлся для Саллюстия закономерным и неизбежным порождением этой разложившейся социальной группы, персонифицировавшим все ее пороки [Утченко, 1952, с. 120–122]. В итоге С.Л. Утченко пришел к выводу о том, что сочинение Саллюстия — не произведение на отвлекенную тему, а «попытка построить серьезный обвинительный акт против нобилитета», орудие идеологической борьбы против последнего [Утченко, 1952, с. 124]. Такое видение проблемы перекликалось с подходом П.Ф. Преображенского, уже указавшего на сознательное конструирование образа Катилины Цицероном и Саллюстием, исходившими из собственных интересов. Однако С.Л. Утченко, в отличие от П.Ф. Преображенского, не стремился «очистить» биографию и образ Катилины от неточностей и вымысла. Исследователь показал, что этот — созданный Цицероном и Саллюстием — образ сам по себе может служить ключом к пониманию личностей его создателей, их воззрений и убеждений.

Тем временем в работах зарубежных антиковедов, затрагивавших тему Катилины, также появились существенные новации. Еще в 1930-х гг. была озвучена идея о том, что Катилина был реформатором, а основным мотивом его поступков являлось не стремление к единоличной власти, но желание провести отмену долгов [Allen, 1938]. В дальнейшем образ Катилины как реформатора, возглавившего союз разорившихся патрициев и городского плебса, обрел еще более четкие очертания [Yavetz, 1963]. К. Уотерс и вовсе высказал идею, что «заговор Катилины» является ничем иным, как мыслительной конструкцией Цицерона. Воображение последнего и породило все те подробности, которые сделали описание этого «заговора» столь правдоподобным [Waters, 1970]. Близка к этому и позиция Э. Грюна: проанализировав предвыборную речь Цицерона и трактат его брата, он заключил, что «многие утверждения гротескны, некоторые,

несомненно, безосновательны... Обвинение Катилины, бесспорно, имело политический подтекст» [Gruen, 1995, p. 270–271]. По-новому интерпретировались и отдельные эпизоды биографии нашего героя. Так, в работе Б. Маршалла обосновывалась гипотеза о непричастности Катилины к убийству Гратициана. Анализ сведений братьев Цицеронов привел автора к выводу о том, что подлинным убийцей был Квинт Лутаций Катул (один из покровителей Марка Цицерона в период его борьбы за должность консула), а само убийство — актом мести Катула Гратициану [Marshall, 1985].

96 Таким образом, в изучении Катилины на первый план вышло направление, основанное на анализе противоречий в работах античных авторов и поиске причин этих противоречий. Соответственно, вместо версий биографии Катилины исследователи стали предлагать различные способы интерпретации сведений о нем с точки зрения изучения намерений и ценностных установок Цицерона и Саллюстия. Но правомерен ли отказ от создания биографии Катилины? Фигура эта — яркая, свидетельства источников о ней — довольно многочисленны; может, их эвристический потенциал не исчерпан? Своеобразный, хотя и весьма показательный, ответ на этот вопрос можно найти в сфере, в которой образ Катилины был не менее востребованным, нежели в исторической науке. Речь идет о художественной литературе.

Первым опытом создания художественного произведения о Катилине явилась трагедия Б. Джонсона. Главный герой предстает настоящим монстром, жаждущим крови и разрушений, его сообщники — ему под стать, а описание их состава взято из второй Катилинарии Цицерона. Выступая перед своими соратниками, Катилина подробно говорит о сильном моральном разложении римской знати, погрязшей в роскоши. И практически такую же картину — взятую из монографии Саллюстия — рисует хор, заканчивая первое действие драмы [Джонсон, 1960, с. 427–433, 440–448, 450–451]. Таким образом, созданный Б. Джонсоном образ Катилины ничем не отличается от того, который укоренился в античной традиции.

В 1748 г. вышла трагедия П. Кребийона-старшего, отошедшего от тенденции изображать Катилину воплощением всех пороков. Драматург попытался представить противоборство Цицерона и Катилины как межличностный конфликт, причиной которого явилась любовь второго к дочери первого, не оставшаяся безответной. Именно эта попытка «оживления» материала античной традиции вызывала нарекания современников [Честерфилд, 1971, с. 203]. Тем не менее, драма была принята «на ура» при дворе Людовика XIV, чем вызвала приступ зависти у Ф. Вольтера [Письма Вольтера, 1956, с. 190]. Последний написал драму, возвращавшую аудиторию к традиционному образу Катилины. Из всех низменных черт последнего Ф. Вольтер выделил две — кровожадность и лицемерие, особенно ярко проявившееся в намерении Катилины убить Цезаря, которого он сам стремился вовлечь в свой заговор [Voltaire, 1901, p. 235–238, 247–250].

В 1822 г. из-под пера Дж. Кроли вышла, пожалуй, первая апология Катилины, представившая его мужественным и решительным противником несправедливости, борющимся против коррумпированного сената. Обремененный долгами, Катилина проигрывает консульские выборы из-за происков Цицерона, после чего теряет сына, убитого сторонниками последнего. В это время к Катилине приходят известия о волнениях ветеранов в Остии и бунте рабов в Апулии. И только тогда он решается начать борьбу с сенатом [Croly, 1830, p. 9–13, 52–63].

Еще дальше зашел Г. Ибсен, в чьей драме о Катилине перед читателем предстает благородный мечтатель, мужественный воин, человечный и практически бескорыстный. Разумеется, он скорбит о положении простых людей, которые бесправны перед лицом всесильного сената и которых он жаждет освободить [Ибсен, 1956а, с. 68, 90–91]. Полной противоположностью Катилине является его окружение — Лентул Сура, Цетег, Бестия и др. Они жалуются на то, что погрязли в долгах (в основном из-за постоянных кутежей) и вспоминают времена Суллы, чем вызывают у Катилины едва ли не презрение [Ибсен, 1956а, с. 76–78]. Лентул и Цетег подбивают Катилину возглавить заговор с целью устранения своих противников. Катилина отказывается, т.к. предпо-

читает быть «жертвой клеветы и осуждения», чем проливать чью-либо кровь [Ибсен, 1956а, с. 94]. К тому же он стремится уехать из Рима в Галлию, чтобы жить в провинциальной тиши с Аврелией Орестиллой. И только после уговоров весталки Фурии — настоящей *femme fatale* — соглашается выступить против правящего режима [Ибсен, 1956а, с. 102–109].

Интересно изобразил Катилину Р. Джованьоли, не сомневавшийся в том, что патриций убил Гратициана и собственного брата, а затем погряз в долгах [Джованьоли, 1985, с. 46–47]. Но он не мог мириться с пороками римской элиты и это побуждало его к борьбе с ней. В изображении Р. Джованьоли Катилина — груб, но благороден; нередко проводит время в обществе гладиаторов; мечтает о свободе для римлян, стонущих под игом нобилитета, для чего и желает привлечь на свою сторону Спартака, с которым ведет переговоры [Джованьоли, 1985, с. 120–121].

98 В духе Р. Джованьоли (хотя и не упомянув о нем) написал свой очерк о Катилине А.А. Блок. Хотя этот очерк нельзя отнести к художественной литературе, представленный в нем взгляд на Катилину — взгляд именно поэта, а не ученого. А.А. Блок не отрицает никаких прегрешений, приписывавшихся нашему герою, но для него они не существенны. Главное — в стремлении Катилины разрушить «старый мир», свергнуть бремя всеобщего рабства. И в этом он выступает предшественником самого Христа, «вестником нового мира» [Блок, 1962а, с. 61–71]. Символично, что поэт именуется патриция «римским "большевиком"» (подразумеваемая «стихия большевизма», а не действия партии В.И. Ленина), квалифицируя действия Цицерона как «белый террор» [Блок, 1962а, с. 77, 86; Блок, 1962б, с. 452]. Из всех сочинений о Катилине данный очерк вызвал наибольшее количество откликов (скорее из-за интереса к А.А. Блоку, чем к Катилине), продолжающих выходить и по сей день.

По сей день появляются и литературные опусы, посвященные Катилине. Так, в романе С. Сейлора главный герой, сыщик Гордиан, перечисляет все главные прегрешения, приписывавшиеся Катилине. Но он не уверен, что хотя бы одно из них имело место. Намекает автор и на явную недостаточность биографических данных о Катилине, и на создание, посредством их

отбора, явно отталкивающего образа. Это ярко показывает история с весталкой Фабией, оказавшаяся провокацией со стороны Публия Клодия, обвинителя Катилины на процессе о грабеже провинции Африка. В целом же автор романа сделал упор на положительных качествах Катилины — храбрости, пронзительности и большом личном обаянии [Сейлор, 1997, с. 37–40, 96–109].

Анализ художественных произведений, затронувших тему Катилины, показал, что литераторы, по сути, предвосхитили все основные тенденции в изучении данного феномена профессиональными историками. Именно драматург создал первое в эпоху Нового времени произведение, посвященное Катилине. Задолго до заявления У. Рэмсея о тенденциозности Цицерона П. Кребийон-старший показал, что в борьбе с Катилиной им двигали личные мотивы. Также и до радикального пересмотра Э.С. Бисли историографической традиции о Катилине Дж. Кроли и Г. Ибсен выступили со своими версиями протеста против «очернения» образа мятежного патриция. Да и определение П.Ф. Преображенским сторонников Цицерона как «белой гвардии» — отзвук ремарки А.А. Блока о «белом терроре» со стороны Цицерона.

Кроме того, в ряде случаев литераторы, создавая образ Катилины, практически не опирались на античную традицию, лишь «выворачивая наизнанку» сообщения источников. Так обнажилась проблема, с которой столкнулись и профессиональные историки — нехватка необходимого материала для создания образа Катилины, альтернативного сложившемуся в античности. И в художественной, и в специальной литературе все, кто пытается переосмыслить традиционные мнения о нашем герое, вынуждены действовать методом «от противного». Найденные в источниках противоречия дают литераторам и ученым основание отметить соответствующие построения античных авторов, конструируя черты образа Катилины, прямо противоположные традиционным. Но это стремление разрушить «миф о Катилине», как правило, приводило к появлению не менее (если не более) мифологизированных образов Катилины.

В целом же, сопоставив и осмыслив научные и художественные интерпретации феномена Катилины, можно сделать ряд наблюдений. Прежде всего, античная традиция представила биографию Катилины как цепочку различных прегрешений, включая убийства, разврат, взятки, интриги. Использование данного набора преступлений для дискредитации политических противников был частью ораторского и литературного инструментария политической борьбы в Риме I в. до н.э.

100 Не так важно, кого убивал (и убивал ли) Катилина во время правления Суллы — важен контекст, в который упоминания убийств помещены братьями Цицеронами и более поздними авторами. В 60-х гг. до н.э. служба в армии Суллы сама по себе не могла считаться преступлением, ведь она была в послужном списке таких влиятельных деятелей как Помпей, Лукулл и Красс. Поэтому данный период биографии Катилины неизбежно дополнялся подробностями: он отрубил голову убитому и понес ее Сулле чуть ли не через весь Рим; среди убитых им были его родственники (степень родства в разных источниках варьируется), что не могло оставить равнодушными римлян, дороживших семейными ценностями.

Не так важна и реальная подоплека процесса над Катилиной по обвинению в кощунственной связи с весталкой Фабией — важно, что патриция заклеямили как святотатца, несмотря на его оправдание. И уж совсем неизвестно, как именно управлял Катилина провинцией Африка — в источниках упоминается лишь о суде над ним за хищения. Даже оправдание в обоих процессах было использовано для создания репутации коррупционера, избегающего наказания путем подкупа чиновников. Как видим, сам отбор данных о жизни Катилины был направлен на создание негативного образа патриция². Более того — такой отбор данных о человеке (даже без их умышленного искажения) был распространенным приемом манипулирования мнением римлян о нем. Этим приемом особенно часто и эффективно

² Действительно, трудно представить себе, чтобы человек, не совершивший ничего, кроме запечатленных в античных текстах преступлений, был столь популярен и влиятелен в Риме, реально претендуя на консульство.

пользовался Цицерон [Сухарева, 2011, с. 47]. Вот почему Катилина — даже без учета иных элементов конструирования его образа — был обречен предстать перед аудиторией Цицерона воплощением всех пороков.

Надо также учесть, что в Риме I в. до н.э. политическая сфера не была обособлена от других сфер общественной жизни. По этой причине римляне не имели детально разработанной политической терминологии, и довольно часто вкладывали политическое значение в морально-этические категории [Утченко, 1973, с. 33, 43–44]. Соответственно, последние использовались ими при ведении политической борьбы — как в устной, так и в письменной форме. При этом, в отличие от древних греков, «антиномия "плохой человек, но хороший (выдающийся) политик" была неприемлема для римлянина» [Утченко, 1973, с. 44]. Отсюда и распространенность обвинений в распущенности в адрес политических противников — достаточно вспомнить выпад Антония в адрес Октавиана: «Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, — да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?» (*Suet. Aug. 69. 2*). В этом ряду стоят и обвинения Катилины Цицероном в соращении юношей и Саллюстием — во «многих гнусных прелюбодеяниях».

Даже в описании внешности Катилины Саллюстием заметны элементы конструирования: противоестественны и бледность его лица, и походка — «то быстрая, то медленная», в отличие от степенной поступи, приличествовавшей римским гражданам [Гай Саллюстий Крисп, 1981, с. 171, прим. 63]. Вполне обоснованно предположение Н.В. Чекановой: «Вероятно, главным для обвинителей Катилины была не реальная картина, а желание создать впечатление воплощенного порока и обезумевшего гедониста, страстно желавшего "царской власти"» [Чеканова, 2001, с. 229].

В свою очередь, образ Катилины, созданный под воздействием личных качеств и интересов Цицерона и Саллюстия, их ценностных установок и политических пристрастий, оказал сильнейшее влияние на представления о Катилине в последую-

щие эпохи. Это влияние было во многом обусловлено большой популярностью Катилинарий Цицерона и монографии Саллюстия. Еще Дион Кассий отмечал, что имя Катилины «стало более известным, чем заслуживали его деяния, благодаря репутации Цицерона и речам, которые тот произнес против него» (*Dio Cass. XXXVII. 42. 1*). А в эпоху Средневековья изучение Катилинарий входило в курс риторики, преподававшейся в университетах. Г. Ибсен признавался, что к написанию драмы о Катилины его подвигло изучение указанных сочинений Цицерона и Саллюстия при подготовке к вступительному экзамену в университет [Ибсен, 1956б, с. 60]. Таким образом, в течение многих веков обучавшиеся гуманитарным дисциплинам европейцы смотрели на Катилину глазами Цицерона и Саллюстия. Воздействие этих авторов на исследователя заметно и сегодня. Та же Н.В. Чеканова, расценивая интерпретации биографии Катилины античными авторами как мифотворчество, сочла достоверным описание его внешности Саллюстием [Чеканова, 2001, с. 230].

102 Так что создание сколько-нибудь целостной биографии Катилины невозможно, ввиду неравномерности освещения различных периодов его жизни (если только не будут открыты какие-либо новые источники). Опыт не только исследователей, но и литераторов показал, что все предложенные интерпретации его биографии по сути сводились к описанию его борьбы за власть в 64–63 гг. до н.э., естественно, с акцентом на «заговоре Катилины».

В настоящее время исследователи феномена Катилины предпочитают использовать образ и биографию последнего как инструмент познания особенностей мировоззрения и характера Цицерона и Саллюстия³. Наиболее обстоятельный анализ особенностей описания личности и деятельности Катилины Саллюстием предприняла Э. Уилкинс. На ее взгляд, основной целью римского историка было показать — различными способами — закономерность порождения такого «революционного» деятеля, как Катилина, зная, воспитанной в духе традиционных рим-

³ Впрочем, чаще всего в работах антиковедов предметом исследования оказывается «заговор Катилины» как явление политической жизни Рима I в. до н.э.

ских добродетелей. Эта проблема более всего занимала Саллюстия, желавшего запечатлеть в своих трудах социальный, политический и моральный «климат» эпохи Поздней Республики [Wilkins, 1994]. Как представляется, именно такой подход к изучению феномена Катилины позволяет продуктивно работать с текстами античных авторов, конструируя его образ и биографию, не рискуя ступить на стезю создания очередного мифа о Катилине.

Литература

Блок А.А. Катилина. Страница из истории мировой Революции. // *Блок А.А.* Собрание сочинений. Т. 6. Проза 1918 — 1921. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. С. 60—91.

Блок А.А. Предисловие к лекции о Катилине, читанной в школе журнализма. // *Блок А.А.* Собрание сочинений. Т. 6. Проза 1918 — 1921. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. С. 451 — 452.

Виллани Дж. Новая хроника или История Флоренции / пер. с итал. М.А. Юсима. М.: Наука, 1997.

Гай Саллюстий Крисп. Сочинения / пер., ст. и коммент. В.О. Горенштейна. М.: Наука, 1981.

Джованьоли Р. Спартак / пер. с итал. А. Ясиной. М.: Детская литература, 1985.

Джонсон Б. Заговор Катилины. Трагедия в пяти действиях / пер. с англ. Ю. Корнеева // *Джонсон Б.* Пьесы. М.; Л.: Искусство, 1960. С. 423—588.

Ибсен Г. Катилина. Драма в трех действиях / пер. с норв. А. и П. Ганзен // *Ибсен Г.* Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Пьесы 1849—1862. М.: Искусство, 1956. С. 64—174.

Ибсен Г. Предисловие автора ко второму изданию // *Ибсен Г.* Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Пьесы 1849—1862. М.: Искусство, 1956. С. 59—63.

Иванов Ю.А. Заговор Катилины и его социальная база // Вестник древней истории. 1940. № 1. С. 69—81.

Ковалев С.И. История Рима. Курс лекций. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.

Ливиус Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х гг. I в. до н.э. и заговор Катилины. Минск: Изд-во БГУ, 1960.

Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве / предисл., коммент. Е.И. Темнова. М.: Мысль, 1997.

Машкин Н.А. История древнего Рима. Учебник. М.: Высшая школа, 2006.

Моммзен Т. История Рима. Т. III. СПб.: Наука — Ювента, 1999.

Орлов, Е. Демосфен и Цицерон: их жизнь и деятельность. М.: [б.и.], 1991. (Сер. «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова»).

Письма Вольтера. Новые тексты переписки Вольтера / публ., введ. ст. и прим. В.С. Люблинского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

104 *Преображенский П.Ф.* Миф о Катилине // *Преображенский П.Ф.* В мире античных идей и образов, М.: Наука, 1965. С. 67–98.

Радциг С.И. Цицерон и его время // Цицерон. 2000 лет со времени смерти. Сб. ст. М.: Изд-во МГУ, 1959. С. 9–54.

Сейлор С. Загадка Катилины / пер. с англ. О. Перфильева. М.: Крон-пресс, 1997. (Сер. «Любовь и корона»).

Стрельникова И.П. Некоторые особенности ораторской манеры и стиля Цицерона (по Катилинариям) // *Цицерон.* Сб. ст. (отв. ред. Ф.А. Петровский). М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 111–150.

Сухарева Т.А. Приемы создания негативных образов политических соперников в речах Цицерона // *Реальность. Ретроспекция. Реконструкция: Проблемы всемирной истории.* Сб. науч. тр. (отв. ред. М.Е. Ерин). Ярославль, Изд-во ЯрГУ, 2011. С. 46–53.

Утченко С.Л. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения Республики. М.: Изд-во АН СССР, 1952.

Утченко С.Л. Еще раз о римской системе ценностей // *Вестник древней истории.* 1973. № 4. С. 30–47.

Ферреро Г. Величие и падение Рима. Кн. I. СПб.: Наука — Ювента, 1997.

Чеканова Н.В. Заговор Катилины: литературно-публицистическая аберрация и реальность // Жебелевские чтения-3. Тезисы докладов научной конференции 29—31 октября 2001 года. СПб., 2001. С. 226—237.

Честерфилд Ф.С. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Издание подготовили М.П. Алексеев, А.М. Шадрин. Л.: Наука, 1971.

Allen W. In Defense of Catiline // *The Classical Journal*. 1938. Vol. 34, № 2. p. 70—85.

Beesly E.S. Catiline // *Beesly E.S.* Catiline, Clodius and Tiberius. London: Chapman and Hall, 1878. p. 1—37.

Lempriere J. Catilina // *Lempriere J.* Bibliotheca classica: or, A dictionary of all the principal names and terms relating to the geography, topography, history, literature, and mythology of antiquity and of the ancients: with a chronological table. Tenth American edition. New York: W.E. Dean, 1838. p. 391.

Catilina // *Dictionary of Greek and Roman biography and mythology*. Ed. by W. Smith. Vol. I. Boston: Little, Brown and Company, 1867. p. 629—634.

Croly G. Catiline; a dramatic poem, in five acts // *The poetical works of the Rev. George Croly*. Vol. II. London: Willis and Sotheran, 1830. p. 1—157.

Forsyth W. Life of Marcus Tullius Cicero. London, John Murray, 1869.

Gordon Th. The conspirators, or, The case of Catiline. Part I. London: printed for J. Roberts, 1721.

Gruen E.S. The last generation of the Roman Republic. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1995.

History of Julius Caesar. Vol. I. New York: Harper & Brothers, 1865.

Keightley T. The History of Rome. New York: Leavitt, Trow and Company, 1848.

Koehler M.A. Catilina in classic tradition. Stamford: R.H. Cunningham press, 1920.

Marshall B.A. Catilina and the execution of M. Marius Gratidianus // *Classical Quarterly*. 1985. № 35. p. 124—133.

Niebuhr B.G. Lectures on the history of Rome, from the earliest times to the fall of the Western Empire. Vol. III. London: Walton and Maberly, 1853.

Stern E. von. Catilina und die Parteikämpfe in Rom der Jahre 66 – 63. Dorpat, 1883.

The conspirators, or, The case of Catiline. Part II. By the author of the first part. London: printed for J. Roberts, 1721.

Voltaire F. Catiline // *Voltaire F.* From the works of Voltaire. A contemporary Version / trans. William F. Fleming. Vol. IX. Part 1. New York: E.R. DuMont, 1901. p. 225–289.

Waters K.H. Cicero, Sallust and Catiline // *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte.* 1970. Vol. 19, № 2. S. 195–215.

Wilkins A.Th. Villain or hero. Sallust's portrayal of Catiline. New York: Peter Lang, 1994.

Yavetz Z. The failure of Catiline's conspiracy // *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte.* 1963. Vol. 12, № 4. S. 485–499.

Владимир Селиверстов

Проблема фиксации субъективности на примере *Vita* Альберти

1. Проблема «Жизнеописания»

По мнению Якоба Буркхардта, Леон Баттиста Альберти (18 февраля 1404 — 20 апреля 1472) являлся «универсальным человеком» (*uomo universale*), воплощением идеала итальянского Ренессанса. «Универсализм» в творчестве Альберти заключался в том, что он преуспел во многих областях искусства, науки и литературы: круг его интересов распространялся от архитектуры и живописи до шифрования и коневодства. Глава из книги Буркхардта «Культура Возрождения в Италии» [Буркхардт, 1996, с. 87–110], в которой впервые описывается образ «*uomo universale*» по сути, строится на тексте «Жизнеописания» *Vita* Альберти, в котором — опять же, по мнению Буркхардта — последний представлен как образцовое воплощение человека Возрождения.

Так ли это на самом деле? Многие знают работы Альберти, его диалоги «О семье», но сколь много мы знаем о нём самом?

«Жизнеописание» — единственный документ, который может ответить на эти вопросы. Написанное Альберти или кем-то ещё (то ли в 1437, то ли в 1438 году), оно является основным источником информации о его жизни. В данном исследовании мы сосредоточимся на тех её эпизодах, которые находятся в эпицентре этого исследования.

Центральный эпизод «Жизнеописания» связан с детством Альберти и начинается он со смерти его отца. Если верить его тексту, с этого момента родственники Леона должны были перечислять средства, положенные ему по завещанию. Однако они не только не следовали установленному законом порядку, но,

дабы завладеть наследством, даже пытались убить мальчика. Они не видели смысла в его научных изысканиях и презирали его. Именно эти темы и легли в основу сюжета «Жизнеописания». Как пишет Альберти, «были такие среди его близких, которые, зная по опыту его [Альберти] гуманность, благожелательность и щедрость, замыслили против него несказанные преступления, забывая о всякой благодарности, и составляли чудовищные заговоры в его собственном доме, подстрекая наглых слуг варварским образом зарезать его» [Альберти, 1935]. Диалоги Альберти «О семье» (1434–1441), в которых он наметил основные положения своей гуманистической этики, были посвящены как раз его родне.

108 Вообще, следует отметить особо роль «автобиографического» в творчестве Альберти. Так или иначе, все его рассуждения пронизаны автобиографическими мотивами. Как пишет Э. Гарэн, «исток этих мыслей — в его трудных и неоднозначных взаимоотношениях со своим знаменитым родом, к которому он привязан семейными узами, который он, по сути, боготворит, к которому он был бы горд принадлежать и который его отвергает, гонит, презирает» [Гарэн, 1986, с. 176].

Для понимания контекста исследования нельзя не сказать, с чем именно контрастируют рассказы о взаимоотношениях Леона с родней. Дело в том, что после этих рассказов на страницах «Жизнеописания» мы наблюдаем то, как наш герой преобразуется из мученика в борца, преодолевающего все преграды. В этот момент автор биографии окончательно дистанцируется от своего героя и превращается в Диогена Лаэртского, нахваливающего деяния Леона и цитирующего его лучшие изречения. Именно это часть жизнеописания и позволяет многим исследователям заявлять, что Альберти не был его автором. Однако, если мы всё же предположим обратное, то проблема также состоит и в том, что мы не можем точно определить точно, где автор дает волю своим подлинным воспоминаниям и чувствам, а где начинается литературная игра и вымысел. То же можно сказать и о «Книгах о семье», однако там такая путаница объяснима, поскольку в этом произведении мы вправе ожидать то, что автор не

всегда может приводить в пример свой личный опыт¹ и пользоваться какими-то абстрактными примерами.

Таким образом, мы имеем дело с многослойной проблемой. Является ли Альберти автором «Жизнеописания»? Если да, то в чём его авторство проявляется?

Теперь, когда ключевые вопросы сформулированы, пора поговорить и о методологии. Дело в том, что когда мы имеем дело с проблемой фиксации субъективности героя автобиографии эпохи Возрождения, то в самой формулировке этой проблемы заложено множество вполне самостоятельных проблем. Пожалуй, ключевой из них является проблема перевода, т.е. трансляции современных дискурсивных исследовательских практик в контекст эпохи Возрождения. А конкретнее, она заключается в том, насколько правомерно использование для описания ренессансной субъективности моделей, которые были установлены во второй половине XIX века? С одной стороны, эта проблема отсылает нас к историко-философскому релятивизму, сторонники которого незамедлительно отметят (в содержательном плане — довольно справедливо), что как таковой концепт сознания начинает оформляться со времён Декарта и что, следовательно, любые трактовки ренессансной мысли в ключе новоевропейской философии будут являться странными и некорректными. Проблема заключается ещё и в том, что чисто психологический анализ (пусть даже и в философском ключе) не будет исчерпывающим, т.е. те сугубо личные мотивы, которыми руководствовался автор (в данном случае, Альберти), не могут служить единственным материалом для полноценного исследования и понимания того, что стоит за текстом автобиографии. Для проведения такого исследования необходимо учитывать также социальные и историко-культурные факторы, которые зачастую с необходимостью обуславливают непосредственно эту, так сказать, «чистую психологию».

109

¹ Так, Альберти пишет о том, что ему еще не знакомо любовное чувство, но в своей апологии брака и семьи сетует по поводу множества неженатых представителей рода Альберти. Реальный же Баттиста так никогда не женился, что отчасти объясняется его вступлением на путь духовного лица.

2. Кто автор?

110

Учитывая эти и другие вышеупомянутые соображения, мы возвращаемся к нашей теме, а именно к первому из наших вопросов. В самом деле, краеугольным камнем всего нашего исследования является все же до сих пор не до конца разъясненная проблема авторства «Жизнеописания». Первый издатель этой работы, Лоренцо Мехус, рассматривал его только как анонимную биографию Альберти. До нас сочинение дошло в трех рукописях, и во всех трех Альберти не значится в качестве его автора. Впервые оно было названо автобиографией А. Бонуччи [Bonucci, 1844] в 1844 году, и по сей день большинство исследователей² творчества Альберти признают авторство этого сочинения за ним. Как замечает в своей статье К. Эненкель [Эненкель, 2001, с. 79], на это существует два веских основания. Во-первых, в тексте содержится достаточно много довольно личной, детализированной информации о жизни Альберти (например, сведения о его любви к пению на природе с родными ему людьми или о его болезни во время учебы в Болонье). Во-вторых, некоторые фразы из текста напоминают отдельные пассажи из других работ Альберти. Тем не менее, данные основания вряд ли можно считать достаточными для того, чтобы можно было окончательно признать его авторство: «Оба этих основания недостаточно убедительны: если автор был родственником, другом или учеником Альберти, он вполне мог, знать “личные детали”. Сходство фраз, в свою очередь, может быть вызвано тем, что автор жизнеописания знал работы Альберти: они многократно цитируются в тексте» [Эненкель, 2001, с. 80].

Таким образом, на данный момент сосуществуют обе точки зрения на проблему авторства рукописи «Жизнеописания». Данное произведение, скорее, носит статус условно принадлежащего перу Альберти. При этом некоторые учёные продолжают критиковать факт признания авторства рукописи за Альберти. Однако равно как у сторонников признания авторства рукописи, так и у противников этого признания примерно сходятся

² Наиболее известные работы: [Watkins, 1957, p. 101-102], [Fubini, Menci Gallorini, 1972, p. 21-78], [Garin, 1993, p. 361-376].

позиции относительно той литературной традиции, к которой принадлежит «Жизнеописание», изобилующее разного рода «мудрыми» изречениями Альберти. Это делает его, как уже отмечалось, стилистически схожим с «Жизнью и изречениями знаменитых философов» Диогена Лаэртского, в котором изречения греческих философов приводятся с одной единственной задачей: представить их авторов как людей экстраординарных и даже странных, чьё поведение отличается от поведения обычных людей. Очевидно, что автор жизнеописания находился под сильным впечатлением от сочинения Лаэртца. Вполне возможно даже, что сам Альберти во время написания своей автобиографии хотел изобразить себя подобным философам прошлого и подчёркивал странные аспекты своей личности, необычные действия и высказывания. Весьма показательным в данном случае сходство описание героя «Жизнеописания» с описанием Сократа у Лаэртца: подобно Сократу, Альберти стойко и терпеливо сносит оскорбления и унижения со стороны его родственников; для героя Альберти также характерна знаменитая сократовская ирония, когда, притворяясь в собственном невежестве, он разыгрывал своих оппонентов и т.д.

111

На наш взгляд, вне зависимости от того, считает ли кто-то, что Альберти является автором «Жизнеописания» или нет, дискуссия на этот счёт должна продолжаться. Ведь на кону не просто какое-то формальное установление отдельного исторического факта, который удовлетворит все стороны, участвующие в дискуссии, и все ее участники разойдутся, а редакторы без зазрения совести смогут, наконец, вписать или не вписать нужное имя автора в публикацию очередного издания «Жизнеописания». На кону — продвижение в разрешении важной эпистемологической проблемы, а именно проблемы того, как можно определить, зафиксировать, понять другую субъективность. Причем, говоря «другую», я не только имею в виду просто субъективность другого человека, но и человека из другого времени, иной тип субъективности.

3. Два образа Альберти

112

Сделав все необходимые допущения, мы теперь можем перейти к следующему вопросу: как мы можем доверять тексту Альберти? Его биографии, представленные в научной литературе, как правило, основываются на «Жизнеописании», однако у нас нет гарантии того, что автор последнего пытается представить истинный ход событий. В связи с этим возникает еще один вопрос: какими же всё-таки методами мы можем воспользоваться для работы с этим таинственным документом? Должен ли это быть сугубо текстологический анализ? Казалось бы, что так и должно быть, раз наша проблема так или иначе завязана на анализе текста. Но как мы можем опираться исключительно на эту методологию, если проблема фиксации субъективности как таковая не может ограничиваться лишь этим, так как имеет глубокие философские, культурные и исторические корни и отсылки. Сторонники текстологического подхода очень любят бранить исследователей за их «оторванность» от текста, подобно тем редакторам исторической точности в отношении истории философии, которые критикуют философов и историков философии за то, что те упускают в своих исследованиях разные, с их точки зрения любопытные (ну и, конечно же, важные) исторические детали. На мой взгляд, наиболее оптимальным подходом к исследованию текста Альберти является изучение тех приёмов, при помощи которых Альберти описывает себя и своё окружение.

Итак, каким же всё-таки сам Альберти себя рисует и какие приёмы использует для самоописания? Под «рисует» я имею в виду именно презентацию того образа самого себя, возможно, в каких-то принципиальных моментах отличного от того оригинала, который конструируется Альберти в его произведении. Так, говоря о себе в третьем лице и ссылаясь на свои достижения, изображая свой характер, он стремится показать, насколько он в действительности велик. Таким же он себя изобразил на небольшом овальном медальоне, выполненном ок. 1435 года на бронзовой пластине, который находится сейчас в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Любопытна та деталь, что, изоб-

ражая на нем самого себя, он пользовался техникой двух зеркал. Если продолжить сравнение автобиографии и автопортрета, то такая техника в переводе на язык литературы представляется довольно занятой. Возможно, такая скрупулезность в автобиографии объяснялась бы тем, что он пытался скорее выделить себя самого из различных характеров и масок, некоторые из которых он сам на себя надевал; выделить себя из идеального себя. Именно перечислением этих черт, конструирующих образ Альберти, мы и продолжим наш рассказ.

Особый интерес для исследования личности Альберти, его психологических особенностей представляет выбор итальянским гуманистом его собственной эмблемы — крылатого глаза. Эта эмблема присутствует на автопортрете Альберти (рис. 1). На нём Альберти изображен в образе римлянина. Слева от его головы как раз и расположен крылатый глаз, (этот символ отсылает к египетской иероглифической традиции, где глаз символизировал бога). На обратной стороне пластины есть надпись, которая гласит: «*Quid tum?*» (Что с того? (лат.)). Эта надпись отсылает к Буколикам Верлигия, где мы можем встретить следующую строчку: «*Что с того, что Аминт кожей темен? (quid tum si fuscus Amyntas?)* Ведь и фиалки темны, темны и цветы гиацинта...» [Вергилий. Буколики. X, 39].

Сам Альберти ассоциировал этот символ с Богом, поскольку тот является «всевидящим». Однако глаз в свою очередь также часто ассоциировался с солнцем, с мифологическими богами. Наличие такого символа также интерпретируется и ассоциируется некоторыми исследователями с ролью отца в жизни и творчестве Альберти. В этом, кстати, нельзя не усмотреть некоторые психоаналитические коннотации. В частности, в «Книгах о семье» Альберти уделяет много внимания роли отца в воспитании сына и заботе о семье. Тем самым он признает те ошибки, которые совершил его собственный отец.

Vita и автопортрет на медальоне служат одной цели как с точки зрения выбора собственного имени, так и с точки зрения выбора персональной эмблемы. Альберти во многих работах любил именовать себя просто Леон. По-видимому, тем самым он пытался выразить как собственную значимость, так и те страда-

ния, которые ему пришлось пережить. Лев для него был величайшим и самым благородным животным, гордо шествующим среди остальных и не замечающим собак, лающих на него. Также лев был символом Флоренции, родного города семьи Альберти.

114 Безусловно, помимо различных способов конструирования себя при помощи разного рода символов (вроде льва или крылатого глаза), мы можем и в тексте найти примеры использования схожих приёмов. Дело в том, что в «Жизнеописании» Альберти показывает то, как он прошёл путь от нравственного идеала до идеала художественного. С моей точки зрения, первая часть Vita Альберти в гораздо большей степени сосредоточена на описании некоторых особенностей его личности, которые автор-герой невольно показывает читателю сквозь призму отношений героя с его родственниками. Как я уже говорил, автор разрывался между тем, что представить себя самого, но в то же время, представить идеал самого себя, который мог бы служить неким нравственным примером, в том числе, и для юного читателя. И, на мой взгляд, показывая своё взросление как прохождение через тернии (болезни, нищету, ненависть) к свету науки, он несколько увлекается в своем повествовании и как бы ненароком демонстрирует всю гамму своих чувств в тот период. Разумеется, элементы самовосхваления присутствуют и здесь, но если мы заключим их в скобки, то перед нами предстанет достоверный фрагмент его психологической жизни в этот период — второй, настоящий Альберти.

3. Альберти и его окружение

Не менее важно и то, как проявляется личность Альберти через описание отношений с его окружением. Форма, в которой написано «Жизнеописание», говорит о том, что оно, как и его знаменитые «Книги о семье», скорее, адресовалось его близким родственникам, или, по крайней мере, небольшому кругу друзей. Несмотря на все неприятности и унижения, которые сваливались на Альберти со стороны его родственников, он был очень

предан роду Альберти, и признавал только те знакомства, которые так или иначе были скреплены родственными узами. Поскольку у него не было детей, то, как предполагается, свою работу Альберти адресовал, в частности, сыну своего брата Карло, с которым он по-настоящему сдружился.

Даже в «Книгах о семье», как пишет М.А. Юсим [Юсим, 2008], нельзя не усмотреть наличия ряда мыслей и намёков, свидетельствующих о том, что многое из того, о чём пишет Альберти, так и или иначе берётся им из его личного опыта, личной биографии. Создаётся ощущение, что он постоянно ведёт диалог с каким-то собеседником: с самим собой или окружающими. Воспоминания раннего детства проглядывают в рассуждениях об опасности для семьи заразных болезней со ссылкой на эпидемию чумы в Генуе в 1407 г., которая, как предполагается, унесла мать Альберти и заставила его отца переселиться в Венецию. Тезис о пользе физических упражнений перекликается с рассказом о его необыкновенных атлетических достижениях, о которых рассказывается в «Жизнеописании». Через все диалоги проходит мысль о долге родственников помогать друг другу, и особенно — осиротевшим племянникам. В данном случае, здесь имеет место явная параллель с судьбой Альберти, которого, как мы уже знаем, с его точки зрения, презирали и ненавидели его родственники. Один из героев диалогов, умирая, обращаясь к сыновьям, говорит им, что добродетель важнее богатства, а также, что, хотя он оставляет детям необходимые средства, им придётся испытать трудности и лишения. Это опять же воспроизводит собственную историю автора. При этом он добавляет, что только жестокие и бессердечные люди не оказывают помощи своим. Любопытно то, как в обеих работах проводится противопоставление богатства и добродетели (по свидетельству Юсима, наиболее явно — в «Книгах о семье»). В «Книгах» Альберти как собственную мысль преподносит нам то, что добродетели как раз сопутствует бедность и, одновременно, склонность к наукам. Это — абсолютная калька с того, как прошло взросление самого Альберти. Лишённый своими родственниками достойного финансирования, он полностью погрузился в науку, иногда даже с большой угрозой для здоровья. Далее, в «Книгах» он прямо пи-

шет об этом: «Занятия науками тоже, оказывается, подвержены множеству ударов фортуны: то ты лишаешься отца, то тебя преследуют завистливые, жестокие, бесчеловечные родственники: то на тебя обрушивается бедность, то с тобой случается какое-нибудь несчастье» [Альберти, 2008, с. 137]. Занятие наукой само по себе не пользовалось популярностью и благосклонностью у большинства жителей Флоренции. Именно поэтому родственники Альберти, верящие во всепобеждающую силу денег, не понимали пользу от его занятий, а главное, не понимали, за что им следует давать ему деньги.

116 Любопытно также не только то, как представлен в «Жизнеописании» работе сам Альберти, но и то, как он описывает общество — как систему жестокой несправедливости. Отчасти можно сказать, что он пытается таким образом представить ту жестокую среду, в которой может формироваться такой идеальный герой как он, т.е. здесь он противопоставляет себя жестокому обществу, являя образец нравственности. В работе он как бы отрешивается от общества, призирая и смеясь над его пороками. В то же время такая точка зрения некоторым образом противоречит его ранним высказываниями и, в частности, высказываниям в «Книгах о семье»: о необходимости единения, о ценностях общества, дружбы и семьи. Такое видимое противоречие скорее означает, что пример Альберти должен заставить самих людей следовать ему, объединяться вокруг него.

Вообще, надо признать, что отдельные личности — родственники, брат, кузены, друзья и политические союзники — представлены в работе как некоторые тени. Он редко называет кого-то по именам. Они как бы являются декорациями представления, в котором Альберти следует по пути самосовершенствования.

4. Фиксация проблемы

Как и в отношении некоторых других автобиографий эпохи Возрождения, так и в отношении текста Альберти существуют определенные психоаналитические теории, касающиеся анализа переживаний его автора. У такого подхода есть интересные след-

ствия. Например, Альберти в своей работе описывает свои переживания в виде внешних проявлений, поступков, которые он совершил или не совершил. Такой подход весьма близок той психологической и философской традиции, которая в XX веке именовалась бихевиоризмом. Бихейвиоризм отстаивает идею о том, что у нас нет никаких достоверных доказательств существования внутреннего духовного мира человека, и мы лишь можем делать какие-то выводы о нём, исходя из его поведения. Альберти также большую часть работы выстраивает таким образом, чтобы читатель мог оценивать его героя с точки зрения совершённых им поступков. Однако, на мой взгляд, чисто психоаналитический анализ работы может служить лишь дополнительным, а отнюдь не ключевым элементом для оценки личности автора. Автобиография Альберти как фиксация его субъективности может предстать просто как своего рода нарциссический хаос для современного психоанализа. Хотя сама работа может служить отображением психологического наследия той эпохи, которое должно подлежать критическому анализу.

117

Приведенные в этой работе соображения, на мой взгляд, способны некоторым образом прояснить предмет спора и внести посильный вклад в дискуссию об авторстве «Жизнеописания». На данный момент, пожалуй, наиболее важно зафиксировать саму проблему субъективности, возникающую в дискуссиях о его авторстве. Проигрывая различные варианты авторства рукописи и разного рода образов её автора и героев, мы расширяем не только спектр возможных подходов к изучению конкретного ренессансного текста, но продвигаемся в изучении проблемы субъективности вообще.

Литература

Альберти Л.-Б. Фрагмент анонимной биографии Леон-Баттисты Альберти // Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. I. С. XIX–XXIX.

Альберти Л.Б. Книги о семье. М., 2008.

Буркхардт Я. Развитие индивидуальности // *Буркхардт Я.* Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996. С. 87–110.

Гарэн Э. Исследования о Леоне Баттисте Альберти // *Гарэн Э.* Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.

Эненкель К. Происхождение ренессансного идеала «Uomo universale». «Автобиография» Леона Баттиста Альберти // Человек в культуре Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М., 2001.

Юсим М.А. «Книги о семье»: природа, вирту и примирение крайностей / *Альберти Л.Б.* Книги о семье. М., 2008. С. 320–331.

Bonucci A. Prefazione // *Leon Battista Alberti: Opere volgari.* Firenze, 1844–1849. Vol. 1.

Garin E. Leon Battista Alberti e l'autobiografia // *Concordia discors: Studi sul Niccolo Cusano e l'umanesimo europeo* / Ed. G. Piaia. Padova, 1993. p. 361–376.

118 *Fubini R., Menci Gallorini A.* L'autobiografia di Leon Battista Alberti: Studio e edizione // *Rinascimento* / *Rivista dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.* 1972, II, 12. p. 21–78.

Watkins R. The authorship of the «Vita anonima» of Leon Battista Alberti // *Studies in the Renaissance.* 1957. №4. p. 10.

Роман Гуляев

Буржуа или рыцарь? Скрытый сюжет «Хроники» Бонаккорсо Питти

Имя Бонаккорсо Питти едва ли известно кому-то кроме исследователей эпохи Возрождения. Ренессанс чаще всего воспринимается как время художников, естествоиспытателей, поэтов, переводчиков и издателей литературного наследия античности. На фоне произведений Франческо Петрарки, Леонардо да Винчи, Массилио Фиччино и других может показаться, что это время принадлежало исключительно творческим личностям, а все прочие — от монархов до простых крестьян и горожан — не играли в нем никакой роли. Между тем Флоренция, Милан, Венеция и другие итальянские города обязаны своим процветанием поколениям предпринимателей, путешественников, банкиров, которые не только создали экономические предпосылки для развития интеллектуальной и творческой среды, «но и сами внесли непосредственный вклад в историю своей эпохи, оставив (помимо материальных ценностей) в наизидание потомкам многочисленные дневники, записки и просто торговые книги, в которых перечень дебиторов и кредиторов перемежается воспоминаниями о бурных событиях итальянской жизни XIV—XV вв.» [Гуковский, 1972, с. 185]. Подобные «хроники» известны с XIII в. — В.И. Рутенбург перечисляет [Рутенбург, 1972, с. 210—212] сочинения Салимбене, Дино Компаньи, Джованни Виллани, Донато Велутти. Строго говоря, эти произведения нельзя назвать автобиографиями в смысле рассказа о себе: авторы, следуя принципу «*di scrivere il vero delle cose certe che io vidi e udi*»¹, стремят-

¹ «Описывать некоторые события, в правдивости которых я уверен, так как я их видел или слышал о них». Отрывок из «Хроники» Дино Ком-

ся рассказать о значимых событиях, произошедших в мире на протяжении их жизни. Вторая черта, отдаляющая купеческие хроники от автобиографизма в современном понимании — зачастую «размытая» фигура рассказчика, который не всегда отделяет себя от своей семьи, употребляет местоимение «мы» и чередует рассказ о событиях своей жизни с изложениями биографий родственников. Наконец, поскольку такая хроника предназначена исключительно для чтения внутри семьи, она почти всегда содержит подробную опись накопленного имущества, генеалогическое древо, списки занимаемых членами семьи общественных должностей и другую информацию, которая почти никогда не выделяется в отдельные разделы, а вставляется в произвольные места рассказа о жизни автора, нарушая его целостность. Все это привело к тому, что купеческие хроники долгое время считались «второстепенными» по отношению к произведениям философской и художественной гуманистической традиции, а то и вовсе не включались в круг литературы Возрождения [Гуковский, 1961, с. 175].

Бонаккорсо Питти (1354—1430) был выходцем из богатой и влиятельной флорентийской купеческой семьи. Рано потеряв отца, он был вынужден совершать первые деловые шаги под руководством старших родственников, не достигнув и двадцатилетнего возраста. В попытках «найти фортуна» он путешествует по всей Европе — от Венгрии до Англии, знакомится с самыми разными людьми — от королей и герцогов до купцов, игроков и наемников. Перемежая торговые операции с дядями по нескольку дней партиями игры в кости, узнавая новые страны и языки, Питти наращивает и свое благосостояние, и авторитет среди соотечественников. Ему поручают дипломатические миссии ко дворам королей и могущественных герцогов, в периоды обострения борьбы политических партий он оказывается изгнан из города и рискует быть убитым; в конце концов его заслуги на дипломатическом поприще оказываются отмечены императором Рупрехтом, Питти и его потомки наделяются дворян-

ским званием, флорентийская коммуна назначает его на важные и почетные выборные должности. На склоне лет он решает записать рассказ о событиях своей жизни, в результате чего и появляется его «Хроника».

И текст Питти, и сама его фигура очень сильно зависят от контекста их восприятия. Характеризуя Бонаккорсо как человека «решительного, волевого, не связанного этическими или религиозными нормами... отличающегося острым ощущением и пониманием конкретной обстановки» [Гуковский, 1972, с. 187], М.А. Гуковский стремится выделить в «Хронике» прежде всего черты «характерного для эпохи» сознания. Такую установку можно увидеть и в том, как описывается история взаимоотношений Питти с властями родного города: «Питти был типичным человеком Возрождения, он обладал слишком ярко выраженной индивидуальностью, чтобы безоговорочно повиноваться синьории» [Гуковский, 1972, с. 189]. В этой формулировке можно выделить несколько принципиальных моментов. Во-первых, подчеркивается ключевая для самосознания Питти роль эпохи Возрождения — периода, пришедшего на смену Средним векам и принесшего новые ценности (индивидуальность и сознание собственной свободы вместо традиционной этики и религиозной морали). Во-вторых, ясно обозначается связь между главным героем и социально-политической общностью, к которой он принадлежит, т.е. торговой и политической элитой Флорентийской республики; более того, характер этой связи явно маркируется как конфликтный. Питти — человек независимый, не связанный культурной моделью какого-либо сословия, свободно выражающий свои симпатии и антипатии и поэтому в целом уже не принадлежащий средневековой эпохе. Вместе с тем именно в этом и выражается его «типичность» для эпохи Возрождения; при желании его текст можно рассматривать как свидетельство «переходного этапа» между Средними веками и Новым временем. Однако независимость Питти проявляется и в том, что свой текст Питти сочиняет, не опираясь на какие-то явные образцы, именно поэтому «Хроника» имеет довольно специфичную композицию и структуру. Вот как их оценивает М.А. Гуковский: «Как уже сказано, «Хроника» Бонаккорсо Пит-

ти отнюдь не однородна на всем своем протяжении и распадается на три явно отдельные части. В первой, относительно небольшой части содержится предисловие и, как говорилось выше, перечисление предков и членов семьи автора, перемежающееся часто чрезвычайно интересными замечаниями. В это генеалогическое повествование то тут, то там поневоле вплетаются имена людей, игравших значительную роль в жизни Флоренции и которые благодаря нескольким фразам или словам Питти вдруг обретают плоть и кровь... Вторая часть, наибольшая по размеру и главная по содержанию, содержит хронику в собственном смысле слова; все, сказанное выше — о стиле, о характере изложения, о богатстве фактического материала и т. д. в первую очередь относится именно к этой части. Она деловита по тону, носит описательный и вместе с тем динамичный характер, как бы передающий бег времени, и порой настолько увлекательна и жива, что трудно оторваться от чтения. Но живой, интересный метод изложения оказался не под силу стареющему Питти. Чем дальше он отходит от волновавших его в молодости событий, от того, что составляло главный нерв его жизни, чем ближе он к событиям последних лет, тем суше становится рассказ. Вместо энергичного повествования автор зачастую довольствуется простым перечислением фактов и поступков, свидетельствующим о чисто формальном отношении к своей задаче. Питти вновь и вновь возвращается к уже изложенным им фактам, когда-то поразившим его воображение, и даже сравнительно недавние события повторяет по несколько раз. Особенно утомительны последние страницы «Хроники», где автор перечисляет города и страны, в которых он побывал. Но при всех этих недостатках «Хроника» Питти отнюдь не теряет своей значимости и интереса» [Гуковский, 1972, с. 195—197].

В этой работе мы постараемся пойти другим путем: обратиться не к личности Питти как представителя эпохи и не к «Хронике» в целом как одному из ряда типических произведений, а проанализировать наиболее яркие, неожиданные эпизоды этого текста и попытаться реконструировать некий «скрытый сюжет» этого текста. Исходя из тезиса, что Питти не являлся профессиональным литератором и едва ли следовал при напи-

сании своего труда каким-либо формальным правилам, мы, тем не менее, предполагаем, что у него были достаточно веские основания и мотивы для того, чтобы описать главные события своей жизни. Поэтому именно такой подход — разбор наиболее ярких, динамичных эпизодов, в которых автор проявляет свою индивидуальность, — и позволит нам ответить на вопросы, каков герой «Хроники», есть ли у него определенный набор этических и культурных идеалов, что и как автор пытается донести до читателя.

Возможно, самый неожиданный момент повествования — стихи, сочиненные Питти по случаю присвоения ему и его потомкам дворянского звания:

«В ныне текущем тысяча четыреста первом году в городе Тренто император Руперт пожелал, чтобы скромный мой герб навсегда собой увенчал его лев золотой, лежащий у всех на виду. И велел в тот же день он канцлеру своему, чтобы тот свой регистр дворянский тотчас же достал и в нем имя мое и братьев моих записал, чтобы лев золотой навсегда остался бы в нашем роду. И он дал привилегии нам, нас сочтя достойными звания благородных имперских дворян, нас и наших сынов, и позднейших потомков, дабы эти знаки признания на гербе своем каждый носил бы во веки веков, вместе с прочими знаками чести на сем основаньи, как вассалы имперской короны со старых годов. Пусть же будет каждый готов из вас, братья мои и сыны, так вести себя, чтобы ваши слова и деянья отвечали всегда благородству вашего звания» [Питти, 1972, с. 93—94].

Сам автор не испытывает иллюзий относительно художественной ценности своего «неуклюжего сонета»; тем большее значение имеет тот факт, что Бонаккорсо, человек, ни в чем не обнаруживающий вовлеченности в книжную или поэтическую культуру, решает увековечить таким образом главное событие своей жизни. Очевидно, что ни торговые успехи, ни путешествия, ни женитьба или рождение детей не имеют такого сильного отклика в тексте «Хроники», и их автор описывает вполне обыденным языком (иногда принимающим характер бухгалтерского отчета). Однако для дальнейшего анализа важен не только сам факт обращения Питти к поэтическому языку, но и содер-

жание его послания потомкам (ведь к ним он прямо обращается в своем сонете). Ключевой здесь представляется последняя фраза стихотворения: «Пусть же будет каждый готов из вас... так вести себя, чтобы ваши слова и деянья отвечали всегда благородству вашего званья». Эти слова делают необходимым уточнение формулировки М.А. Гуковского, который, напомним, не считал Питти связанным какими-либо «этическими или религиозными нормами». Очевидно, что Бонаккорсо вкладывает некий смысл в понятие «благородства званья» и, более того, четко указывает, что это благородство должно проявляться в словах и поступках (а не быть неким абстрактным идеалом). Таким образом, установка послания Питти в первую очередь как раз этическая; достижение определенного сословного и социального статуса — это вершина его личной биографии, но лишь отправной пункт для его потомков, которые должны поддерживать славу фамилии и проявлять те же качества, которые позволили их предку подняться так высоко.

124 Особенность текста Питти — его ориентированность на описание конкретных событий и ситуаций вместо теоретизирования и обобщения своего жизненного опыта — ведет к тому, что он не проговаривает того набора добродетелей и ценностей (и вообще, за исключением указанного стихотворения избегает давать читателю какие-то явные советы или указания). Однако мы попробуем разобрать ситуации, которые он описывает, и его поведение в них — не с целью установить истину или достоверность изложения Питти своей биографии, а с целью описать тот идеальный образ, который он пытался донести до своих потомков.

Один из характерных случаев произошел в 1378 году: борьба между разными партиями флорентийской коммуны вылилась в открытые конфликты на улицах города, в которых пришлось участвовать и Бонаккорсо. Вот как он описывает дальнейшие события: «Я находился на площади, вооруженный, под знаменем Никкио, и, когда жирный народ из цехов и другие стали гнать «тощих», один каменотес стал кричать, как бешеный, призывая к кровопролитию, выкрикивая: «Смерть им, смерть им», а больше никто не кричал. Поскольку я был с ним

рядом, я сказал ему, чтобы он молчал, как другие, но в ответ он нанес мне острием меча удар в грудь. Но я был наготове и ударил его в грудь копьем, которое прошло через его кожаный колет, и он упал мертвым; и многие, кто видел, что начал бой умерший, сказали, что так ему и надо и что я убил его, защищаясь, и больше об этом разговора тогда не было» [Питти, 1972, с. 32—33]. С одной стороны, Питти предстает здесь человеком решительным и храбрым — таких действий можно бы было ждать от представителя военного сословия, а уж никак не от отпрыска богатой купеческой семьи. С другой стороны, видно, как мало волнует героя собственноручное убийство другого человека — гораздо больше он озабочен тем, чтобы его поступок был признан соотечественниками как справедливая и необходимая самооборона.

В другой ситуации Бонаккорсо показывает себя человеком хладнокровным и не склонным к лишнему кровопролитию, когда его можно избежать: «Матео дель Рикко Корбицци да Сан Пьеро Маджоре, бывший доверенным лицом тех, кто тогда правил Флоренцией, и приехавший в Пизу по своим торговым делам, повсюду — в церкви, в домах знакомых, даже на площади — открыто, прямо в лицо говорил всякие поносные слова против всех высланных или бежавших граждан и неотступно продолжал так действовать с неудержной дерзостью; случилось, что однажды он и мне стал говорить всякие ругательства, на что я ему ответил, сказав, что если он будет продолжать досаждать гражданам, бежавшим из Флоренции или высланным из нее, то он увидит свою рубашку в крови. Но он еще более исполнился надменности и удвоил свои оскорбления; тогда я отошел от него и послал Джусто дель Читерна сказать ему, что я больше не буду ни ходить туда, где он бывает, ни говорить с ним, чтобы он не мог иметь случая обращаться ко мне со своими поносными речами; и что если он пришел бы туда, где я уже находился, я оттуда уйду, однако, если он будет продолжать говорить обо мне что-либо, задевающее мою честь, я ему на деле покажу, что мне это неприятно» [Питти, 1972, с. 37]. Безусловно, здесь есть существенные различия с первым случаем: Питти находится в чужом городе, где у него мало друзей и союзников; его противник —

высокопоставленный горожанин, уверенный в своих силах и в поддержке со стороны властей Флоренции, поэтому развитие конфликта для Питти нежелательно и опасно. Однако он не намерен терпеть дерзость и оскорбление своей чести и ради их защиты готов пойти против самых неблагоприятных обстоятельств.

126 Свою честь Питти приходится защищать и за пределами Италии, при дворе герцога Орлеанского, к которому Бонаккорсо ездил с дипломатической миссией. Этот эпизод связан с увлечением, оказавшим большое влияние на жизненный путь героя, — игрой в кости. «Случилось так, что, когда наступила моя очередь бросать кость, моим противником оказался виконт Монлев, который был великим игроком, знатным и богатым синьором, имевшим ежегодную ренту более чем в 30 тысяч франков. И как бы для того, чтобы возбудить скандал, случилось, что я двенадцать раз подряд выиграл как в свою подачу, так и в его; поэтому, разгоряченный вином и игрой, он начал говорить: «Ах ты, ломбардец, подлый изменник, что ты делаешь? Собираешься всю ночь выигрывать, жулик, содомит». Я ответил ему: «Мессер, выражайтесь прилично из уважения к герцогу». И поставил новую ставку. Я выиграл и ее. Поэтому в бешенстве он снова сказал бранные слова, произнеся в конце: «И я вовсе не вру». Я сразу же ответил: «Нет, вы это делаете, сир». Тогда он протянул руку и схватил мой берет, который у меня был на голове, и хотел меня ударить. Я отодвинулся назад и сказал: «Я не из тех людей, которые позволяют себя бить, когда при них есть оружие», и положил руку на меч, висевший у меня на боку. Он закричал: «Еще никто никогда не изобличал меня во лжи, надлежит мне убить тебя!». Тогда герцог сказал мне тихо, чтобы я ушел и ожидал в его комнате, предоставив действовать ему. Я вышел и, удалившись от этого дома примерно на сто локтей, почувствовал, что кто-то бежит за мной, повернулся и, так как, к счастью, мимо проходили какие-то придворные с факелами, увидел и узнал, что это бастард указанного виконта де Монлев; в руке он держал обнаженный клинок; я выхватил свой меч и крикнул ему: «Бастард, спрячь свой клинок в ножны, вернись обратно и скажи своему отцу, что ты меня не нашел». Он оглянулся назад и, уви-

дев, что никто из их людей не следует за ним, на свое счастье внял моим словам, вложил клинок в ножны и отправился восвояси. Придворные, которые это видели, рассказали об этом поступке многим синьорам. За это я всеми был весьма одобрен, тем более что указанному бастарду было восемнадцать лет и он был слаб сложеньем, так что я с легкостью причинил бы ему зло» [Питти, 1972, с. 65–67]. Здесь мы видим, что Питти не боится выступить против могущественного аристократа, так как верит в свою правоту; причем в защите своего достоинства он не бездумно хватается за оружие, но очень взвешенно оценивает ситуацию, проявляя больше выдержки и хладнокровия, чем окружающие (и читатель) могли бы ждать от купца, более-менее случайно оказавшегося при одном из самых блистательных дворов Европы.

Ситуация получает дальнейшее развитие, когда разрешением конфликта решает заняться сам герцог: «Тогда виконт вернулся к герцогу Орлеанскому, говоря: «Мессер, я весьма огорчен тем, что вы приняли сторону какого-то ломбардца против меня, вашего родственника и слуги; не было необходимости говорить об этом королю, поскольку я не стал бы противиться вашему приказанию; а если я ночью не согласился на то, что вы просили, то это только потому, что я думал, что вы говорите это не всерьез; но сейчас, когда я вижу, что вы говорите серьезно, я готов простить оскорбление, которое Бонаккорсо нанес мне этой ночью в вашем присутствии». Герцог ответил ему, сказав: «Вы первый начали в моем присутствии говорить Бонаккорсо такие слова, что, если бы он промолчал, я счел бы его недостойным уважения» [Питти, 1972, с. 68]. Здесь важно отметить два момента. Во-первых, герцог здесь предстает справедливым арбитром, для которого собственный вассал не имеет никакого преимущества перед приезжим купцом (здесь стоит отметить, что Питти, не расточая прямых похвал крупнейшим феодалам Европы, с которыми ему удастся встретиться, — французскому королю, германскому императору и т.д. — изображает их справедливыми правителями, способными оценить такие качества, как храбрость и честность, тем самым они выступают не только как могущественные политические фигуры, но и как носители и

определенных нравственных добродетелей, и как авторитеты в спорах о чести и достоинстве; про аристократические правительства итальянских городов, в том числе родной Флоренции, автор «Хроники» далеко не всегда может сказать то же самое). Во вторых, тот ответ, который герой не побоялся дать своему обидчику накануне, не остался незамеченным и был по достоинству оценен — этот эпизод показывает, как Питти, не переходя к дидактизму и прямым нравоучениям, пытается рассказать читателю на собственном примере, какие личные качества и какое поведение могут вызвать расположение сильных мира сего.

128 Питти описывает и случаи, когда ему приходилось проявлять храбрость и смекалку не для выполнения дипломатических миссий или успеха в военных действиях, а исключительно по зову сердца. Вот что произошло с ним в 1377 году: «Будучи в таком состоянии, я влюбился в одну даму, пленившую меня своим видом и речами; ее звали монна Джемма, и она была женой Якопо, сына мессера Риньери Кавиччули, и дочьерю Джованни Тебальдини. Случилось, что в то время, когда она уехала из одного монастыря в Пинти, я проезжал мимо и ее родители пригласили меня к завтраку; я принял приглашение. И так произошло, что мне удалось поговорить с ней в стороне от других, хотя и в присутствии многих, и я подобающим образом сказал ей: «Я всецело Ваш и полностью вверяю себя Вам». — «Если ты мой, будешь ли повиноваться, если я тебе что прикажу?» — ответила она, смеясь. «Испытайте и прикажите», — сказал я. И в ответ она сказала: «Тогда из любви ко мне поезжай в Рим». Я вернулся домой и на следующий же день отправился в путь верхом на коне, с одним слугой, не сказав дома, куда я еду. И поехал я в Сьену и оттуда в Перуджу, Тоди, Сполето, Терни, Нарни и Орти, где находились войска флорентийской лиги, которые сражались с Римом. И мессер Биндо Бондельмонти со своим отрядом однажды ночью в самом деле помог мне по моей просьбе обратиться в Рим и там провел в дом одного римлянина, своего тайного друга, где я прожил несколько дней, а затем тот римлянин по имени Кола Ченчо достал мне пропуск на восемь дней; я пробыл в Риме шесть дней, и тот же Кола провел меня до замка Орсини; вернулся я в Орти и оттуда тем же путем возвратился во

Флоренцию; путь туда и обратно, включая пребывание в Риме, занял месяц. Вернувшись, я послал одну женщину к указанной монне Джемме, чтобы сообщить ей, что я ей повиновался и прочее. Она же ответила, что не предполагала, что я такой сумасшедший, чтобы из-за слов, которые она мне сказала в шутку, подвергать себя таким опасностям и прочее» [Питти, 1972, с. 31–32]. Питти не пишет, получила ли эта история какое-то развитие, и вообще не изменяет своему сдержанному слогу — даже описывая такие романтические обстоятельства (вполне в духе куртуазного романа), он не пытается красоваться перед читателем; собственно, и на свою возлюбленную он производит впечатление поступком, а не словами. Для контраста можно вспомнить, как он описывает собственную женитьбу в 1391 году: «Зная, что Гвидо ди мессер Томазо ди Нери даль Паладжо — самый видный и уважаемый человек во Флоренции, решил я получить невесту из его рук, какую он захочет дать, лишь бы она была его родственницей... Спустя немного дней мессер Томазо прислал ко мне вышеуказанного Бартоло, чтобы спросить меня, желаю ли я взять в жены дочь Луки ди Пьеро дельи Альбицци, которую он отдал бы за меня и которая является дочерью его кровной кузины. Я отослал его обратно к нему с ответом, что мне это предложение нравится; и в конце июля месяца 1391 года я был помолвлен с ней, а затем сочетался с ней браком ноября 12-го дня указанного года» [Питти, 1972, с. 57–58]. Что в первом, что во втором случае Питти крайне сдержан в описании собственных мыслей и чувств, и о мотивах такого умолчания можно лишь догадываться. Во всяком случае, автор «Хроники» не ставит задачу предстать перед читателем человеком бесстрашным и свободным от эмоций. Свою впечатлительность он описывает, например, в ситуации, когда он должен был провести группу союзников по враждебной территории: «Я благополучно довел их до области Съены, а затем оставил их и вернулся в Пизу, подвергаясь большой опасности быть схваченным, так как все дороги охранялись. И заметь, что я совсем не испытывал страха, разве тогда, когда оказался в надежном месте, т.е. уже в Пизе, и когда вдруг почувствовал себя таким уставшим и от страха, который внезапно охватил меня, и от работы, которую я проделал,

поскольку провел без сна три дня и три ночи; так что в Понтедере я целых два дня пролежал, отдыхая». Здесь видно, что Питти не пытается идеализировать себя, создавая некое подобие образа *bon chevalier sans peur et sans reproche*.² Он честно описывает свои страх и усталость — которые, однако, не помешали ему успешно выполнить миссию. Несмотря на лаконичность, этот эпизод производит впечатление весьма выразительного; поэтому сложно предположить, что в других случаях Питти не описывает своих чувств только из-за отсутствия выразительных средств. Представляется, что скупость на описание собственных переживаний связана с тем, что автор не видит в этом смысла — внутренние мотивы, приведшие его в ту или иную ситуацию, не смогут повториться в точности для кого-то из его потомков, в то время как сама внешняя ситуация — может. Поэтому Питти так скрупулезно описывает все, даже не самые значительные случаи из своей жизни, решения, которые ему приходилось принимать, и реакцию на них окружающих.

130 Для человека, большую часть жизни посвятившего рискованным предприятиям, много путешествующего и вдобавок увлекающегося азартными играми, Питти очень мало говорит о судьбе или фортуне. Один из самых характерных примеров относится к 1380 году: «...Случилось, что Бернардо ди Чино послал меня играть с герцогом Брабантским, каковой тогда находился в Брюсселе вместе со многими знатными синьорами, которые все время устраивали большие празднества с джострами, танцами и игрой; так что в конце концов в немногие дни я проиграл около 2000 золотых, которые я туда привез из денег Бернардо ди Чино, поскольку он вложил в компанию свои деньги, а я свою глупость, и проиграл, делая ставку в 300 флоринов или более при игре в две кости. Меня уверяли, что выгоднее делать большие ставки, что было неразумно. И случилось так, что в последнюю ночь, когда я проиграл, заняв у герцога 500 франков, я оставил игру, поскольку знал, что дома у меня оставалось всего лишь около 550 золотых франков. Герцог и другие синьоры поднялись

² «Рыцарь без страха и упрека», прозвище Пьера Террайля де Баярда и название его жизнеописания, написанного Жаком де Маем (1527).

и вошли в зал, где танцевали многие синьоры и дамы, и, стоя там, я с радостью увидел, что одна прекраснейшая юная девица, лет четырнадцати, незамужняя, дочь одного знатного барона, подошла ко мне и сказала: «Идем танцевать, ломбардец, не беспокойся из-за того, что ты проиграл, Бог тебе поможет», и взяла меня за руку. Я последовал за ней; когда я остановился, герцог позвал меня и сказал: «Сколько ты потерял этой ночью?». Ответил я: «Я потерял последнее, что у меня оставалось, — около двух тысяч франков, которые я занял в Брюсселе». Он же сказал: «Я тебе верю, и если бы я сам потерял столько, я не сумел бы так провести вечер, как ты; иди, продолжай веселиться, пусть все у тебя будет хорошо». На следующее утро я положил в кошелек около 500 золотых франков и отнес их ему, сказав: «Отпустите меня, я хочу уехать и искать в другом месте большей удачи». Он же ответил: «Если ты хочешь остаться, то проверь с этими 500 франками, не вернется ли к тебе фортуна, и, может, ты отыграешься, а если опять проиграешь, вернешь мне их в другой раз, когда будешь богат». Я поблагодарил его, сказав, что мне очень нужно поехать в Англию и что сейчас я больше не хочу играть. Тогда он сказал: «Возьми эти 500 франков, ты их отдашь мне на другой год, когда вернешься сюда и отыграешь то, что потерял» [Питти, 1972, с. 44]. И позвал своего правителя канцелярии и сказал ему: «Напиши письмо для Бонаккорсо, что я принимаю его в качестве лица, особо обслуживающего мою персону». «Фортуна» упоминается здесь в узком смысле, как удача за игорным столом. Однако и само развитие ситуации в целом вполне укладывается в средневековую формулу *Fortuna Imperatrix Mundi*³ (или ее вариацию «удача улыбается смелым»). Питти, проигравший и свои, и одолженные герцогом деньги, оказывается, вообще говоря, в затруднительном положении без возможности выполнить возложенную на него миссию. Однако его впечатляющее самообладание ведет к неожиданному развитию событий, что вместе с верностью слову и долговым обязатель-

³ «Фортуна, повелительница мира». Название одной из частей средневековой поэмы *Carmina Burana*.

ствам дает эффект, которого он не мог бы добиться при помощи денег.

Уверенность в себе, в своей чести и в принципиальное равенство людей, разделяющих эти принципы, приводит Питти в фантастическую ситуацию в 1397 году, когда он, купец в составе флорентийского посольства, требует от французского короля соблюдения данных его городу обещаний. «Вследствие чего мы решили, что в первый же раз, когда мы снова будем выступать перед ним в его совете, речь буду держать я на французском языке; так и произошло, я говорил весьма кратко, и сущность речи была в том, что мы от имени наших синьоров и флорентийской коммуны, преданных ему и т. д., просим, чтобы Его Величество соизволили соблюсти верность тому, что было им обещано при заключении лиги, и т. п., и, когда я дошел до этих слов — что мы просим от него соблюдения верности, — увидел я, как король изменился в лице и смутился. Затем мы покинули это заседание. Потом мы узнали, что, когда мы вышли, король спросил: «О каком честном слове и обещаниях меня просили? Пусть принесут документы». Документы были принесены, и король, увидев все, что он нам обещал, очень упрекал канцлера и других лиц, которые слышали и поняли речь мессера Филиппо, за то, что они не дали ему достаточно хорошо понять именно то, что я разъяснил, т. е. о его честном слове... И обратился ко мне, говоря: «А у вас, Бонакcorso, напомнившего мне столь точным образом о моем слове, пусть никогда не будет другого такого случая, ибо не было и никогда не будет необходимости в том, чтобы требовать от меня соблюдения моего слова, если я только точно знаю, что я действительно обязался сделать; я никогда не изменю своему слову и, думаю, никогда меня в этом никто не упрекал, если не считать вашей речи сегодня». Встав со своего места, ибо раньше я сидел, и преклонив колено, я сказал: «Священное Величество, если я сказал вещи, которые вам неприятны, нижайше испрашиваю вашего прощения; меня заставила так говорить необходимость, поскольку мы увидели, что вы не понимаете того, что мессер Филиппе несколько раз у вас испрашивал». Тогда ответил герцог Бургундский, сказав: «Мессер король, флорентинцы так преданы Вашему Величеству, что, только счи-

тая себя вашими [людьми], они осмелились так говорить с вами» [Питти, 1972, с. 74–75].

Не смущается Питти и дать при случае совет Рупрехту Пфальцскому, своему императору и сюзерену: «Случилось, что, еще ожидая ответа из Флоренции, я как-то ужинал с ним в его саду и, заметив, что он не принимает никаких мер по охране от отравы, сказал ему: «Ваше священное Величество, вам не кажется, что вы недостаточно думаете о злодействах герцога Миланского, ибо, если бы вы об этом думали, вы бы принимали меры по охране своей персоны, чего вы не делаете; будьте уверены, что, когда он узнает, что вы решили прибыть туда, он постарается умертвить вас — ядом или ножом». Изменившись в лице и перекрестясь, он ответил: «Неужели он так злонамерен, что стал бы искать моей смерти без вызова с моей или его стороны? Мне трудно этому поверить, но тем не менее я прислушаюсь к твоему совету создать хорошую охрану». И он отдал соответствующие распоряжения и впредь остерегался; и, между прочим, из-за подозрения, которое я внушил ему, он, увидев незнакомого ему человека, тотчас же хотел узнать, кто он и что здесь делает» [Питти, 1972, с. 86–87]. Питти здесь не только выступает как верный вассал, но и (явно не без удовольствия) блистает богатым житейским опытом, оповещая «наивного» императора о коварстве и искушенности в интригах своих соотечественников. Можно лишь предполагать, насколько реальный Рупрехт соответствовал этому образу благородного и наивного правителя, однако очевидно, что вся описанная ситуация соответствует предыдущим случаям, когда Питти сначала проявлял инициативу, а затем в деле наступал неожиданный и благоприятный исход.

Питти сохраняет свою независимость (и уважение к чужой свободе) и тогда, когда благодаря опыту и авторитету среди соотечественников он получает должность капитана Пистойи, города, недавно захваченного флорентийцами (1399 г.). Политические решения являются для Питти новым опытом, до сих пор он в основном принимал решения за себя одного, а интересы города отстаивал в посольствах, миссии которых были уставлены изначально. Оказавшись в новых обстоятельствах, он

решает следовать принципам, которым он был верен всю жизнь, пусть даже они идут с волей правительства родного города. «22 сентября указанного года я вступил в должность капитана Пистойи, и во время исправления должности между другими делами мне случилось арестовать одного известного вора. Наши синьоры послали ко мне гонца и написали, чтобы я передал этого вора в его руки, а он отвезет его к подесте Флоренции. Я этого не сделал, но написал синьорам, что мне бы хотелось, чтобы они соблюдали вольности пистойцев. Они же снова мне ответили, что, если я не передам вора после этого их второго письма, они поступят со мной так, что это станет вечным примером для всякого, кто не повинуется их синьории. Я опять воспротивился и написал своим братьям, у которых были родственники и друзья, чтобы они, если сочтут возможным, пошли бы к синьорам просить их предоставить мне осуществлять правосудие в Пистойе и тем соблюсти присягу, которую я принес пистойцам, вступая в свою должность» [Питти, 1972, с. 81]. В первую очередь бросается в глаза, как автор подчеркивает важность верности собственному слову. В этом смысле Питти не делает различий между могущественными герцогами и населением покоренного города. Во-вторых, и здесь он пытается подчеркнуть эффективность собственного решения: следовать принесенной присяге и принимать справедливые решения легче и менее затратно, чем вести войны и усмирять бунты. Похоже, что здесь Питти помимо очередного примера потомкам, каким могущественным было их семейство, пытается показать, что следование избранным жизненными принципам, пусть и кажущихся идеалистичными, может пригодиться и быть вполне прагматичным в совершенно разных и неожиданных ситуациях.

Обобщая приведенные эпизоды, можно сделать выводы о том, что же за принципы отстаивает Питти и на какие культурные идеалы ориентируется. Можно бы было предположить, что он как представитель активно развивающегося купечества, занимающего новые позиции в обществе и в политике, является неким прообразом тех носителей «духа капитализма», которых описывал Макс Вебер в своей известной работе. Действительно, Питти подчеркивает необходимость строго следовать своим

обещаниям (в том числе и долговым), скрупулезно описывает (и, соответственно, отлично представляет себе) имущество своего семейства, с той же бухгалтерской педантичностью составляет списки своих родственников, посещенных городов и т.д. Самое главное, что сближает героя с этой системой ценностей — это его постоянная активность, погруженность в труд и деятельность; он постоянно в движении, постоянно заводит новые знакомства и постоянно планирует новые предприятия.

Однако вместе с тем многие черты его характера и особенности поведения отдаляют его от типажа купца и капиталиста Нового времени. Во-первых, Питти чрезвычайно легко относится к деньгам, уверенно пуская их не только и не столько в деловые предприятия, сколько участвуя в азартных играх, покупая дорогих коней и одежду, сопровождая королей и герцогов в военных походах и т.п. Во-вторых, он не так много внимания уделяет собственно купеческой деятельности, охотнее вспоминая и описывая разного рода «авантюры». У М.А. Гуковского можно найти следующий пассаж: «Сын расчетливого шерстяника, Бонаккоро Питти не довольствуется скучным производством отца. Если отец, чтобы не отвлекаться от своего дела, отказывался от тех должностей в коммуне, от которых можно было отказаться, не навлекая на себя неприятностей, то сын его полон честолюбивых помыслов и во имя осуществления их скорее склонен поступиться денежными принципами» [Гуковский, 1961, с. 191]. Однако честолюбие Питти проявляется не только в стремлении занимать высокие должности в родном городе. По приведенным фрагментам видно, насколько важно для него признание со стороны феодальной аристократии — причем и французский король, и герцог Орлеанский, и германский император воспринимаются Питти не только как могущественные правители, но как первые и высшие авторитеты в вопросах чести, достоинства и рыцарской доблести. Представляется, что именно эти качества Питти ценит выше прочих, и в основе той части повествования, финалом которой является присвоение ему дворянского звания, лежит совокупность тех эпизодов его биографии, где он проявлял себя благородным человеком, рыцарем. В его повествовании всплывают многие элементы куртуазной культуры: служение

прекрасной даме; верность сюзерену и готовность его выручить хоть делом, хоть советом; храбрость в рискованных ситуациях; умение разбираться в дорогих конях и оружии; ревностное охранение своей чести и доброго имени; легкое отношение к приобретению и трате денег; умение писать сонеты, наконец.

Таким образом, в «Хронике» мы видим, пусть и несколько наивное, конструирование образа героя, подобное тому, как эти образы создавались в других автобиографических произведениях эпохи — у Петрарки, Альберти, Челлини. В отличие от этих авторов, ориентирующихся на античную автобиографическую традицию, средневековые жизнеописания святых и другие образцы словесности, Бонаккорсо Питти не обнаруживает знакомства с высокой книжной культурой и, видимо, во многом пишет свой труд «по наитию». Этим объясняется и простой язык произведения, близкий к устной речи, и его неоднородная структура. Питти явно не может выстроить иерархию значимости тех сведений, которые он включает в свое произведение — поэтому живое повествование о событиях собственной жизни перемежается списками родственников, движимого и недвижимого имущества, да и, достигнув кульминации автобиографического рассказа — получения от императора дворянского звания, — автор не может принудительно оборвать повествование и вынужден фиксировать дальнейшие события, которые находят у него уже гораздо меньший отклик. Вернемся к тому, что и М.А. Гуковский отмечает «формальный» подход Питти к изложению поздних событий своей жизни, объясняя его тем, что «живой, интересный метод изложения оказался не под силу стареющему Питти» [Гуковский, 1972, с. 196]. Однако учитывая тот факт, что «Хронике» Питти начал вести лишь в 1412 г., в возрасте 58 лет и, видимо, преимущественно отойдя от дел, одним возрастом объяснить изменившийся стиль последней части произведения сложно. Представляется, что дело здесь все-таки в содержании: стремясь к некоторому культурному идеалу, Питти вспоминает те события своей жизни, в которых он проявлял приписываемые этому идеалу качества; это, с одной стороны, легитимирует в его собственных глазах получение дворянства, а с другой — это событие является окончательным признанием со стороны импера-

тора, т.е. высшего представителя этого культурного типа, и логическим финалом этого сюжета. Естественно, после этого все прочие события (пусть даже связанные с занятием выборных должностей в родном городе, т.е. признанием со стороны соотечественников) в глазах автора несколько меркнут и оттеняются бурными впечатлениями прошедших лет.

Осталось сказать лишь несколько слов о том идеале, которому Питти стремится соответствовать и, ориентируясь на который, выстраивает свое повествование. В свете всего вышесказанного представляется очевидным, что этот идеал — рыцарский. Во-первых, в «Хронике» сильна этическая установка, но она явно не проговорена и не теоретизирована — автор излагает различные ситуации и те решения, которые он в них принимал, то есть стремится наставлять не словами, но личным примером. Во-вторых, главными душевными качествами героя «Хроники» оказываются смелость, решительность и готовность нести ответственность за свои решения (даже те, которые он сам оценивает как неудачные). В-третьих, в «Хронике» значительное внимание уделяется различным элементам куртуазной культуры — военным действиям, пирам, общению с королями и герцогами, служению прекрасной даме, в то время как события семейной жизни, торговые операции и пр. описываются кратко и по большей части формально. Остается лишь догадываться, как Питти, не упоминающий в своей автобиографии прочитанных книг (среди которых могли бы быть и рыцарские романы), сформулировал для себя качества, которые считал необходимыми для настоящего рыцаря и дворянина. Возможно, он познакомился с устной поэтической традицией за время своих путешествий и пребывания при аристократических дворах Европы. Возможно, подобная модель поведения была некоторым «общим местом» для представителей городской аристократии, к которой семейство Питти относилось. Возможные источники рыцарской этики для Бонакcorso Питти — тема для отдельных исследований. Однако то, что этой этике он старается следовать на протяжении жизни и то, что вокруг нее, осознанно или нет, выстраивает сюжет своего произведения, мы попытались показать в этой работе. Отчасти такой подход позволяет лучше понять особенности «Хрони-

ки» и точнее определить место этого памятника в литературе Возрождения. Но вместе с тем позволяет по-новому взглянуть и на саму эпоху, в которую новые появляющиеся элиты (которым будет суждено определять экономическую, политическую и культурную жизнь Европы в последующие века) в плане этических идеалов и образцов поведения ориентируются на традиционные институты рыцарства и дворянской аристократии.

Литература

Питти Б. Хроника. Л., 1972.

Гуковский М.А. «Хроника» Бонакcorso Питти / Питти Б. Хроника. Л., 1972.

Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Т. 1-2. Л., 1947, 1961.

138 *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987.

Рутенбург В.И. Автобиография Питти и итальянская литература / Питти Б. Хроника. Л., 1972.

Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии XIV— начало XV века. М.; Л., 1958.

Рутенбург В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения. Л., 1987.

Mirot L. B.Pitti, aventurier, joueur, diplomate et mémoraliste. Paris, 1923.

Cocchiara G. Popolo e letteratura in Italia. Torino, 1959.

Weiland C. Die 'Ricordi' des Bonacorso Pitti / 'Libri di famiglia' und Autobiographie in Italien zwischen Tre- und Cinquecento. Tübingen, 1993.

Rodocanachi E. Un aventurier florentin: Bonaccorso de'Pitti // Bulletin italien. Bd. 2 (1902). S. 257-279.

Мария Вагина, Гаяне Аванян

Натурфилософия Джироламо Кардано: «распад и брожение» эпохи

Автомобилист знает, что делать, если стучит карданный вал. Но о чем он не догадывается, так это о том, кем и при каких обстоятельствах карданный вал был изобретен.

В 1541 году в Милане проходило триумфальное шествие Карла V, короля Испании, императора Священной Римской империи. Помимо придворных императора и миланской знати в шествии принимали участие представители различных городских сословий. Одному из них — ученому, возглавлявшему коллегии врачей, — была оказана честь идти рядом с экипажем и нести императорский балдахин. Ученый заметил неудобство при перемещении повозки и в благодарность за монаршее внимание к своей особе предложил снабдить повозку подвеской, улучшающей ее балансировку: приспособлением, в котором пересекающиеся в центре валы имеют возможность взаимного углового перемещения. Конструкция была впоследствии описана им в получившей широкую популярность книге «О сущности вещей» («*De subtilitate rerum*», 1550 г., также известной под названиями «О тонкости материй» и «Хитроумное устройство вещей») и стала ассоциироваться с его именем. Звали ученого Джироламо Кардано.

В жизни и посмертной судьбе Джироламо Кардано (1501 — 1576) многое поражает. Будучи внебрачным сыном адвоката из Милана, он всю жизнь отстаивал свое право занимать значимое положение в обществе. В 24 года получил степень доктора медицины, спустя девять лет стал профессором Миланского университета, а позднее — почетным гражданином города, возглавил коллегии врачей Милана, ради чего специально были изменены правила, запрещавшие принимать в коллегии незаконнорож-

денных. Он написал более сотни научных трудов по различным отраслям знаний, но прославился в веках разве что как изобретатель карданного вала да еще публикатор математической формулы для нахождения корней кубического неполного уравнения. Из-за его странностей и необычных увлечений Джироламо нередко воспринимали одновременно как гения и безумца. Итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо в начале своей научной карьеры обратил внимание на необычность личности ренессансного ученого и посвятил ему одно из своих первых исследований — «О безумии Кардано» (1877). В нем автор приводил подробный список симптомов — сны, галлюцинации, мания преследования и т.п. — указывающих на психическое нездоровье Джироламо [Ломброзо, 1892]. Другими же исследователями жизни и творчества Кардано он воспринимался как значимая фигура, оказавшая существенное влияние на развитие культуры и науки XVI в. Так, например, великий Гегель поставил его в один ряд с такими мыслителями, как Джордано Бруно, Джулио Чезаре Ванини, Томмазо Кампанелла, Петр Рамус. По его мнению, Кардано является одной из самых ярких фигур своего времени вследствие того, что в нем «воплотились распад и брожение его эпохи, ее величайший разлад» [Гегель, 1999, с. 240].

Во времена Кардано натурфилософия представляла собой философское направление, в рамках которого происходило переосмысление традиционной картины мироздания. Главной идеей, которую отстаивали натурфилософы, была идея о неразрывном единстве Бога и мира, присутствии Бога в каждом явлении и каждой вещи. Они стремились рационально постичь целостность природы, объяснить отдельные ее феномены и предметы, раскрыв единство и многообразие форм ее проявления. Пьетро Помпонацци, Агриппа Неттесгеймский, Теофаст Парацельс, Джон Ди пытались также найти ответ на вопрос о месте человека в природе и его отношении к Богу [Самотовинский, 2011]. Фактически, натурфилософы создали новый культурный тип личности, чувствовавшей в себе способность эмпирически осваивать и рационально познавать земной мир, и тем самым посягнули на область знания, считавшуюся до тех пор прерогативой богословия.

Однако, если натурфилософы шестнадцатого века расширяли возможности науки, в восемнадцатом натурфилософия уже оказалась ее маргинальной частью. Причиной этому послужило то, что логические построения натурфилософов были часто произвольны и не обладали прозрачной структурой. Натурфилософия, ставящая своей целью умозражение сущностей, предполагала всеохватность и широту взглядов ученых, которые должны были обладать знаниями в различных сферах и применять свои умения в различных областях. Специализация науки, развившаяся в Новое время, противоречила главной задаче натурфилософии охватить единство мира. Уже в XIX веке каждый ученый стал заниматься конкретной областью знания, вкладывать силы исключительно в ее развитие, не соотнося свои занятия с мировым единством. Можно, по-видимому, сказать, что натурфилософия в итоге разделилась на множество наук, которые существуют до сих пор. Другими словами, она уступила место развивающейся в то время философии естествознания, отличающейся сугубой методологической ясностью. Наиболее яркими первыми представителями последней считаются Леонардо да Винчи и Николай Коперник, «опередившие» свое время и предугадавшие развитие современной науки. Их тип мышления не имеет аналогов в научном знании их времени и может быть сопоставим только с мыслью Галилео Галилея — наиболее явным выражением новой эпохи в развитии науки [Горфункель, 1980, с.121].

141

Кардано являлся одним из наиболее репрезентативных фигур натурфилософии XVI века: его интересы были настолько широки, что объединить их в единое смысловое целое историку науки чрезвычайно трудно. Яркий пример этому — его наследие, включающие сочинения из самых разных областей знания: «Великое искусство» (математика), «О главнейших генитурах» (астрономия), «О тонких материях с апологией» (физика), «Об извлечении пользы из несчастий» (этика), «Краткое руководство по врачеванию» (медицина) и многие другие (см. о них дальше). Зачастую в его книгах анализируются связи феноменов областях знания, кажущихся сегодня несопоставимыми: например, медицине и астрологии или математики и музыки. Эти сочинения затрагивают большую часть корпуса науки XVI в., но основной

их массив посвящен вопросам мироздания — «Таинства», «Афоризмы», «Диалектика», «О школе Сократа», «О единстве», «О смерти» и др. Для Кардано в мире все было неразрывно связано, и потому его мысль стремилась не просто охватить кажущиеся порой противоположными сущности, но и проникнуть в тайну их взаимовлияния и взаимодействия. Признание неразрывности и взаимозависимости всего сущего, по мнению французского писателя Сирано де Бержерака, именно Кардано (а не Декарт, как считают сегодня) первым высказал парадоксальную идею о невозможности пустоты природы [Канселье, 2002, с. 275].

142 В последующие столетия судьба наследия Кардано оказалась схожей с судьбой натурфилософии вообще: его произведения, написанные на стыке наук, оказались востребованными только в отдельных областях знания, а своей сегодняшней славой их автор, фактически, оказался обязан только одному конкретному изобретению. Он остался не понят и по-настоящему не принят потомками, как и сама натурфилософия: кто сегодня, говоря об отдельных аспектах реальности, пытается описать целую вселенную?

Итак, совсем не удивительно, что автомобилист не знает толком ничего о создателе карданного вала. И тем более не удивительно, что он не знает об автобиографии Кардано «О моей жизни» — удивительном документе эпохи позднего Возрождения, в котором наиболее наглядно проявилось натурфилософское мировоззрение автора. В описании истории своей жизни он подробно рассказывает о своих научных экспериментах, отношениях с другими учеными, путешествиях, препятствиях на пути к успеху. Особенностью этого сочинения является его специфическая форма: описание жизни ученого и его размышления о прожитых годах сопровождается «медико-антропологическим анализом собственной индивидуальности» [Кон, 1984, с. 119]. Кардано явно стремится придать порядок своему рассказу (об этом свидетельствует его разбивка на главы), однако логику его обнаружить совсем не просто (если вообще возможно). Он начинает повествование в хронологическом порядке: краткого рассказа о своих предках, детстве и юности. Однако, уже с пятой главы, он структурирует автобиографию по темам: в одной глав-

ке рассказывает о своей наружности, в другой — о привычках, в третьей — о болезнях и т.д. Все темы призваны показать читателю жизнь Кардано в различных аспектах, но у современного читателя не складывается единой логики повествования. Может быть по той же причине, что ему недоступна и логика наткрфилософии в целом?

Ключевыми трудами Джироламо Кардано в области натурфилософии исследователи называют «О сущности вещей» («De subtilitate rerum») и «О разнообразии вещей» («De rerum varietate») [Kessler, 1998]. Трактаты, написанные в 1550 и 1557 году, состояли из 21 и 19 томов соответственно и представляли собой описание мироздания и человеческого бытия. Следуя за традиционным аристотелевским представлением о мире, автор описывает в них законы природы, делая объектом изучения металлы и камни, растения и животных, человеческое общество. Аристотелевский порядок, заявленный в книге «О сущности вещей» — от физиологического описания ощущений человека, его воли и интеллекта, сквозь его изобретения, науку и искусство, к демонам, первовеществам и Богу, — стал предметом критики известного ученого-современника Кардано, Юлия Цезаря Скалигера. Тот спорил с основными тезисами, изложенными в этой книге, практически всю свою жизнь. Надо отметить, что трактат «О сущности вещей» был чрезвычайно популярен — только при жизни Кардано он выдержал шесть переизданий.

143

Впрочем, со временем интерес читателя к сформулированным в этих трактатах идеям довольно быстро иссяк. Причина же их популярности, вероятно, крылась не в абстрактном описании мироздания, а в некоторых вполне конкретных вещах, сообщаемых автором, — в частности, его практических изобретениях. Как считают исследователи, философский трактат «О сущности вещей» имел популярность только среди некоторых ученых-криптографов, поскольку в нем автор отписывает способ шифрования, который сейчас известен как «решетка Кардано». Способ этот состоял в том, что скрытое послание вписывалось через решетку, созданную из плотного листа картона с различной длины прямоугольными отверстиями (в каждое — по букве или слогу), а оставшееся на листе место заполнялось текстом.

Адресат должен был иметь идентичную решетку для дешифровки. Сложность способа состояла в том, что для дешифровки нужно было иметь литературный талант: тайнопись должна была быть скрыта в письме таким образом, чтобы оно казалось незашифрованным. А весомым преимуществом — то, что скрытый с её помощью текст было практически невозможно расшифровать без нужного устройства. Вероятно, такого рода решетка была известна и до Кардано, но она вошла в историю под его именем. Впоследствии этот способ шифрования любил использовать кардинал Ришелье (1585 — 1642) — как в частной, так и в дипломатической переписке.

144 Фундаментальным принципом для натурфилософии Кардано, сочетавшим и общие рассуждения, и описание шифровальной решетки, было представление о единстве. «Вселенную, — пишет о Кардано историк итальянского гуманизма Л.М. Брагина, — он рассматривал как единое целое, где “все вещи связаны между собой и сходятся в единстве”. Единство же мироздания достигается, по его мнению, благодаря мировой душе — активному жизненному началу» [Брагина, 1999, с 91]. Действительно, в своих трудах Кардано стремился показать разносторонность мира в его единстве. Он сумел эксплицировать этот принцип в небольшой работе «De uno», написанной около 1560 года и опубликованной в Базеле в 1562 году [Cardano, 2009], при этом рекомендовал ее к прочтению в качестве вступительного слова ко всем своим сочинениям по натурфилософии. В ней мыслитель раскрывает понятие единства: любое реально существующее может быть рассмотрено как система, состоящая из определенного числа органических частей, которые взаимодействуют друг с другом в соответствии с заранее заданными функциями. Реальность в это же время представляет собой систему функций, в которой каждое индивидуальное существование является одновременно и подсистемой, и системой своих частей, тем самым и составляя то самое единство.

Несмотря на кажущиеся отсутствие ясной логики и непоследовательность методологии, труды Кардано все же не остались незамеченными в истории науки: некоторые его трактаты дали толчок для новых исследований ученых. В 1600 году вы-

шла в свет работа Уильяма Гилберта «О магните, магнитных телах и о большом магните Земли». Автор ее вошел в историю английской физики как один из основоположников изучения электромагнитных явлений: он ввел в использование термин «электрический», описал свои опыты над электромагнитными явлениями и придумал первую теорию магнитных явлений. Но его предтечей считают Джироламо Кардано: именно на его уже упомянутый труд «О сущности вещей» ссылается Уильям Гилберт. Гилберт посвящает целую главу обоснованию ошибок Кардано, но ключевая мысль в ней одна: Кардано ошибается, когда считает магнит — равно как и все объекты природы — одушевленным предметом [Sanches, 1988, p.279].

Дело в том, что по Кардано, магнит может потерять свои свойства — а это означает что он может умереть. Значит, магнит живой! А само по себе притяжение или отталкивание — это действие души живой вещи. В этом смысле Кардано исходит из перспективы синкретизма — нерасчленности, смешения. Анализ какого-либо явления у него предстает как описание космоса, которым управляет мировая душа. Живыми оказываются и растения, и животные, и ископаемые, и магниты. Подобный анимизм в XVI веке был распространен и не вызывал удивления, но перестал быть востребованным после появления классической механики. Вопрос, что считать «живой» природой, а что — «мертвой», не может не вызывать сейчас удивления: такое знание в современном мире транслируется институционально благодаря (до)школьному образованию. Но мы должны помнить, что во времена Возрождения это разграничение было интуитивно неясно [Hall, 1994, p. 186].

Сам Кардано приоритетным делом своей жизни считал медицину. Он был убежден, что профессия медика кратчайшим путем приведет его к заветной цели «увековечить свое имя» [Кардано, 1938, с. 32]. Он гордился тем, чего добился на поприще медика, и в автобиографии приводил хвалебные слова других в свой адрес, многократно упоминая, что брался за лечение больных, от которых отказывались другие врачи. Он также подчеркивал, что является не только практикующим врачом, но и врачом-ученым, что он опирается на труды своих великих

предшественников, глубоко постиг премудрости медицины и делится с другими врачами методами лечения, которые сам успешно опробовал на практике. Однако, исходя из сегодняшних представлений о профессии врача, все эти достижения едва ли дают право называть его медиком. Будучи скорее натурфилософом, чем целителем-практиком, он стремился найти причины болезни за пределами человеческого тела, пытаясь понять его как гармоничную часть мира, на которую могут влиять самые разные вещи. Больше того, обращая первостепенное внимание на знаки и символы, а не на опытное знание, Миланец полностью отрицал быстро развивающуюся в то время анатомию (вследствие чего, добавим, был во многом превзойден многими современными ему медиками).

146 Кардано никогда не ставил диагнозы, основываясь исключительно на внешних симптомах болезни пациента. На что он только ни обращал внимание! Например, описывая в автобиографии свое собственное тело, он ищет причины его строения в расположении звезд при рождении. Или подробно, явно предавая его истолкованию важное значение для дальнейшего хода событий, рассказывает о своем сне перед тем, как ему нужно было поставить диагноз важному пациенту — сыну графа [Кардано, 1938, с.122]. Змей, увиденный во сне, вызвал такой ужас Миланца, что он решил отказаться от лекарства, которое хотел прописать, и, в попытке обезопасить себя от ошибки, принял решение назначить больному безобидный препарат. Мальчик умер и приглашенная коллегия врачей не сумела выявить причины его смерти. Но у нее не возникло никаких подозрений относительно прописанного Кардано лекарства — больше того, она признала правоту его выбора. Сон, таким образом, оказался вещим.

Кардано также был известен как астролог и хиромант. Его занятия, связанные с предсказанием будущего, являлись одним из способов познания мироустройства, помогая, как он считал, выявлять причинно-следственные связи происходящих в нем явлений. Причем как предсказатель для современников он был весьма авторитетен — его услугами пользовался даже Римский папа Павел III [Grafton, 1999, p. 86]. Гороскопы правителей служили ему для объяснения событий мирового масштаба, а исто-

рии религий он находил астрологические объяснения. Он даже составил гороскоп Иисуса Христа, за что подвергся гонениям церкви и был посажен в тюрьму.

Пытаясь связать расположение звезд и судьбы людей, видя взаимосвязь между макрокосмом и микрокосмом, Кардано уделял особое внимание внешности отдельного человека. Его часто считают родоначальником метопоскопии — учения об определении черт характера и возможных событий в жизни по линиям лба, а также одним из самых видных последователей учения хирологии, или хиромантии, — об особенностях личности человека по размеру и форме рук, ладони, пальцам и т.д. Ко времени Кардано эта средневековая наука оказалась практически забытой, но благодаря его трудам, а также трудам Парацельса она получила «научное» обоснование и детальную разработку — в XVI–XVIII вв. её даже преподавали в университетах.

В силу того, что Кардано вошел в историю как создатель математической формулы, его можно было бы назвать еще и математиком. Но здесь есть много противоречий, связанных с ее авторством и явно нуждающихся в пояснениях. На самом деле так называемая математическая формула Кардано для нахождения корней кубического неполного уравнения вида $x^3 + ax + b = 0$ была открыта не им, и Миланец даже никогда и не пытался приписать себе ее авторство. В трактате «Высокое искусство» Кардано признается, что вывел её у Николо Тартальи и обещал хранить в секрете, но через 6 лет не выдержал и опубликовал её сам. Конечно, этот пример не исключает, что он сам мог достичь много в математике — и не только в ней.

В его математических трактатах, например, отразилось увлечение их автора музыкой. Кардано писал, что человеку не дано познать счастья, однако люди могут украсить свое существование, и музыка является одним из тех занятий, которые способны преобразить жизнь. Сам Кардано считал, что к музыке в смысле игры на музыкальных инструментах он расположен мало, однако это не мешало ему заниматься ее теорией. В главе, в которой он перечисляет свои достижения, он пишет: «В музыке я нашел новые ступени и новые звукоряды или, лучше ска-

зять, ранее найденные вновь ввел в употребление, заимствовав их у Птолемея и Аристоксена» [Кардано, 1938, с. 193].

Но все же, как получилось, что Кардано, всю жизнь стремившийся увековечить свое имя, много работающий ради этого и многого достигший в разных областях знания, оказался забыт? Почему люди могут вспомнить про карданный вал, но больше ни об одном из достижений Кардано, которым сам он придавал такое значение? Попробуем дать ответ. Он был натурфилософом и потому не мог сосредоточиться на одном феномене, не исследуя все его взаимосвязи (порой даже ассоциативные) с иными явлениями природы. Такое стремление к всеохватности сыграло с ним злую шутку: на вопрос, кем же в первую очередь был Кардано, однозначного ответа не найти. Можно предположить, что если бы он посвятил свою жизнь только медицине, то мог прославиться не только как практикующий медик, но и как медик-теоретик. Он мог бы стать великим врачом, оправдывая свою научную степень пишущим книги, или проявить себя как компетентный практик, лишь изредка делающий ошибки в лечении больных. Но этого не произошло. В истории самой важной для Кардано науки, медицины, для него не осталось места: о нем не читают лекции в медицинских университетах, не пишут в учебниках по истории медицины, его имени нет даже в медицинских энциклопедиях. Зато — карданный вал.

Историкам науки и культуры, впрочем очевидно, что Кардано был одним из самых ярких представителей своего времени — времени, когда все области знания о мире были связаны и не становились уделом лишь отдельных специалистов. Отрасли знания, которая бы вмещала всю широту взглядов и всеохватность итальянского мыслителя, в новоевропейской науке просто не стало.

Первая фундаментальная биография ученого, автором которой был британский литературовед Генри Морли, вышла в середине XIX в. [Morley, 1854] . Она стала основополагающим

трудом в этой области, и на нее до сих пор ссылается большинство исследователей жизни и творчества Кардано. В середине XX в. жизнь и труды Кардано привлекли внимание норвежского математика, профессора Йельского университета Ойстейна Уре, опубликовавшего книгу «Кардано: Ученый-игрок» [Ore, 1953]. Помимо описания открытий Миланца в области теории игр в ней содержится перевод на английский одного из его сочинений, что явилось весьма значимым событием в изучении его научного наследия. Еще более значимым событием в кардановедении стало исследование американского историка Энтони Графтона «Космос Кардано. Миры и труды астролога эпохи Возрождения» [Grafton, 1999], в котором не только рисуется портрет ученого-астролога XVI в. и рассматриваются труды Кардано, посвященные гороскопам, но и воссоздается удивительный мир ренессансной науки. На русском языке публикации о Кардано стали появляться сравнительно недавно, причем особый интерес к нему проявился в последние годы. Сначала как о ренессансном натурфилософе пишет о нем историк итальянского гуманизма Л.М. Брагина [Брагина, 1997]. Потом выходит русский перевод книги астролога XVII в. Вильяма Лилли, сделавшего подборку афоризмов Кардано о предсказаниях и судьбе [Бонатти, Кадано, Лилли, 2005]. Посмертно издаются заметки о Кардано известного историка науки и искусства В.П. Зубова, в которых уделяется значительное внимание математическим открытиям Миланца [Зубов, 2010]. Наконец, публикуется второе издание популярной истории жизни и творчества Кардано Р. Гутера и Ю. Полунова [Гутер, Полунов, 2010] — на настоящий момент это единственная биография итальянского ученого на русском языке.

149

Литература

Брагина Л.М. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М.: Высшая школа, 1999.

Бонатти Г. Anima Astrologia, или Руководство для астрологов: 146 рассуждений Гвидо Бонатти, 7 сегментов Джироламо Кардано. М.: Мир Урании, 2005.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.3. СПб.: Наука, 1999.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М.: Высшая Школа, 1980.

Гутер Р. Полунов Ю. Джироламо Кардано. Гений времени и места. М.: Энас, 2010.

Зубов В.П. Заметки о Джироламо Кардано // Вопросы истории естествознания и техники. 2010. №3. С. 3–40.

Кардано Дж. О моей жизни. М.: ГИХЛ, 1938.

Канселье Э. О Сирано Бержерাকে, герметическом философе // *Канселье Э.* Алхимия. М.: Энигма, 2002.

Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. (глава «Познание себя и автокоммуникация»).

Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. СПб.: Издание Ф.Павленкова, 1892.

150 *Самотовинский Д.В.* Натурфилософия // Культура Возрождения. Энциклопедия. Т. 2, К.1. М.: Росспен, 2011.

Cardano G. De uno. Sobre lo uno / Ed., trans., and commented upon by Jose Manuel Garcia Valverde. Florence: Casa editrice Leo S. Olschki, 2009.

Grafton A. Cardano's Cosmos: The Worlds and Works of a Renaissance Astrologer Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Hall M.B. The scientific renaissance 1450 — 1630. New York: Courier Dover Publications, 1994.

Kessler E. Cardano, Girolamo / Routledge Encyclopedia of Philosophy. Routledge: 1998.

Morley H. Jerome Cardan: The Life of Girolamo Cardano, of Milan, Physician. London: Chapman and Hall, 1854.

Ore O. Cardano, the Gambling Scholar. Princeton: Princeton University Press, 1953.

Sanches F. That nothing is known / Ed. by Limbrick E., Thomson D. Cambridge University Press, 1988.

Михаил Роцин

«Житие» протопопа Аввакума как памятник
переломного времени в России XVII века и
как опыт первых русских мемуаров

Духовный кризис середины XVII в. в России, связанный с проведением церковной реформы в Православной Церкви при патриархе Никоне, способствовал началу широких дискуссий на религиозные темы в стране и постепенному возникновению различных течений в старообрядчестве и не только. Чуть позднее в конце того же века появляются некоторые течения русского духовного христианства.¹ Все это привело к появлению независимого интеллектуального дискурса, прежде всего в старообрядческой среде.

151

Духовным лидером старообрядцев достаточно быстро становится протопоп Аввакум. Как представляется, этому содействовал ряд обстоятельств. Епископы в большей мере, чем простые священники, зависели от священноначалия Православной Церкви (патриарха Никона) и царской власти (царя Алексея Михайловича) и старались не пренебрегать своим положением: им было, что терять. Известен лишь один епископ — Павел Коломенский — открыто выступивший против патриарха и его церковной реформы: он был заточен и 3 апреля 1656 г. сожжен в срубе. Были и другие епископы, не одобрявшие деятельности Никона, но они предпочитали молчать.

¹ Атмосфера религиозных поисков, возникающая после церковного раскола, хорошо показана Дмитрием Мережковским в историческом романе «Петр и Алексей». М.: Вече, 2011.

Следует отметить, что с самой ранней молодости протопоп Аввакум отличался несокрушимой смелостью в отстаивании своих взглядов и убеждений. Одно время он входил в кружок боголюбцев вместе с будущим патриархом Никоном и даже поддерживал его избрание патриархом. Однако после начала церковной реформы перешел к нему в решительную оппозицию.

В 1667 г. протопоп Аввакум был сослан в Пустозерск и прожил там вплоть до 14 апреля (по старому стилю) 1682 г., когда он вместе со своими союзниками священником Лазарем, иноком Епифанием и диаконом Федором был сожжен в срубе. В литературном отношении заточение в Пустозерске было для старообрядческих арестантов весьма продуктивным. За эти годы они написали немало сочинений и челобитных, которые с помощью доверенных лиц рассылались по всей стране.

152 Что представлял из себя Пустозерск? Город находился в нижнем течении Печоры недалеко от современного Нарьян-Мара. Он был основан осенью 1499 г. военной экспедицией во главе с воеводами С.Курбским, П.Ушатым и В.Заболотским-Бражником и был первым русским городом в Заполярье. В течение почти трех веков Пустозерск был административным центром Печорского края, там находилось воеводство, часть населения занималась рыбной ловлей и промыслом морского зверя. Одновременно город служил местом ссылки и заключения. В XVIII веке Городецкий шар, рукав Печоры, на котором стоял Пустозерск, начинает постепенно затягивать илом. В 1762 г. воеводство и воинский гарнизон из Пустозерска переводятся в Мезень, расположенную в 45 км от Белого моря и 450 км от Архангельска. В 1924 г. Пустозерск утратил статус города, он был окончательно покинут жителями в 1962 г. (См. подробнее: [Окладников Н.А., 1999]). Как отмечает Н.В. Понырко, общаться узникам-старообрядцам «было первое время сравнительно легко. Их привезли зимой. Земляная тюрьма готова не была, да и не было возможности ее строить — из-за вечной мерзлоты, из-за неимения строевого леса, из-за отсутствия рабочих рук... По ночам они выбирались из своих узилищ и встречались в домах преданных им людей или, может быть в каком-то одном доме» [Понырко Н.В., 1985, с. 247]. Вскоре после 1670 г. тюрьма была

построена. Она «представляла собой четыре сруба, осыпанных землей. Каждый из них был обнесен тыном, и все вместе — общим острогом. От полу до потолка можно было достать рукой, и в самом верху находилось оконце, в котором подавалась пища и выбрасывались нечистоты. Весной срубы до лежанок затопляло водой, зимой печной дым выедал глаза и удушал» [Понырко Н.В., 1985, с. 249–250].

«Житие» было написано протопопом Аввакумом в тюремный период, как предполагается, в 1672–73 гг. (см. подробнее: [La date, 1938, p. 36–38]). Оно быстро распространилось и получило известность в старообрядческой среде и в течение длительного времени бытовало исключительно в виде рукописных списков. До наших дней дошли автографические рукописи «Жития», написанные самим Аввакумом. Одна из них была опубликована в «Пустозерском сборнике», обнаруженном в Москве известным старообрядцем-книжником Иваном Заволоко [Пустозерский сборник, 1975]. Широкой образованной публике в России «Житие» не было известно до середины 1850-х гг., а впервые было опубликовано в сборнике «Летописей русской литературы и древностей» в 1861 году (см. об обстоятельствах этой публикации в [La Vie de L'Archiprêtre Avvakum..., 1938, p. 18–19]).

«Житие» как литературный памятник стало по существу первым опытом автобиографии в русской литературе. Автор писал его, оказавшись в тяжелых условиях изоляции. Он хотел рассказать единомышленникам о своей жизни. Каких-то других образцов, кроме житийной литературы, для своей работы он не имел. «Житие» частично написано на церковнославянском книжном языке, а частично на народном разговорном (нижегородском говоре, сохранившем, например, активное использование постпозитивных частиц). В этом смысле протопоп выступил реформатором русской литературной традиции, что, впрочем, оставалось практически неизвестным за пределами старообрядческой среды. Аввакум, разумеется, хорошо сознавал, что он писал не некое агиографическое сочинение об одном из святых, а старался донести до читателей личное свидетельство о своей жизни, изобиловавшей крутыми поворотами. К тому времени, когда он взялся за перо, протопоп накопил редкий по богатству

жизненный опыт. Он начинал свою деятельность в Нижегородском крае, затем оказался в Москве, потом был сослан в Тобольск, участвовал в экспедиции в Даурию,² вернулся из ссылки в Москву и был на короткое время обласкан царем, позже сослан в Мезень и после Большого Московского Собора³ отправлен в Пустозерск.

Аввакум отличался хорошей памятью, и когда он вспоминает, то делает это, как правило, точно. Он был человеком исключительной силы духа: один из немногих сторонников старой веры, кто смог до конца противостоять давлению иерархов на Большом Московском Соборе. Приведу знаменитую сцену столкновения с патриархами восточных церквей, красочно описанную в «Житии»: «Побранил их колко мог, и последнее рек слово: «Чист есм аз и прах прилепший от ног своих оттрясаю пред вами, по писанному: «Лутче един, творяи волю Божию, нежели тмы беззаконных!» Так на меня и пуще закричали: «Возьми, возьми его! Всех нас обезчестил!». Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились грудую, человек их с сорок, чаю, было. Все кричат, что татаровя. Ухватил дьяк Иван Уаров, да и потащил меня. И я закричал: «Постой, не бейте!» Так оне все отскочили. И я толмачю архимариту Денису стал говорить: «Говори, Денис, патриархам, — апостол Павел

154

² Даурией или Даурской землей в то время называлась часть территории Забайкалья и западной части Приамурья ввиду того, что тогда эта территория была преимущественно населена даурами. См. подробнее о даурах <http://russian.china.org.cn/russian/32450.htm>

³ Большой Московский Собор 1666-67 гг. выступил в поддержку церковных реформ, начатых патриархом Никоном, хотя и осудил деятельность самого Никона и сместил его с поста патриарха. Как отмечает О.В. Чумичева, «собор повелел всем чадам Русской Церкви придерживаться исправленных книг и обрядов, старые русские обряды были названы неправославными, об отцах Стоглавого Собора, кодифицировавшего самобытную русскую литургическую традицию, в постановлении Большого Московского Собора было записано, что они «мудрствоваша невежеством своим безрассудно, якоже восхотеша сами собою». Всех не повинующихся соборному повелению (имелись в виду старообрядцы) отцы Большого Московского Собора предали «анафеме и проклятию... яко еретиков и непокорников». Анафема по отношению к старообрядцам была отменена на Соборе РПЦ в 1971 г.» ([Чумичева О.В., 2002, с. 682]; см. эл. версию: <http://www.pravenc.ru/text/149721.html>).

пишет: «Таков нам подобаше архиерей: преподобен, незлобив», и прочая; а вы, убивше человека неповинна, как литоргисать станете?». Так оне сели. И я отшед ко дверям да на бок повалился, а сам говорю: «Посидите вы, а я полежу». Так оне смеются: «Дурак-де протопоп-от: и патриархов не почитает». И я говорю: «Мы уроди Христа ради! Вы славни, мы же безчестни! Вы сильни, мы же немощни» [Житие протопопа Аввакума, 2010, с. 211].

Исследователи и читатели «Жития» и других сочинений протопопа давно обратили внимание, что он нередко допускал ошибки в области высокого богословия. Аввакум был скорее лидером и практиком старообрядческого движения. В «Житии» явственно ощущается пророческий дух: автор живет в символическом пространстве, насыщенном чудесами, видениями, неожиданными исцелениями и искушениями со стороны злых сил. При этом он был чрезвычайно одаренным писателем, умевшим рисовать яркие образы и картины. Вот одна из них: «Да я ж еще, егда был в Даурах, на рыбный промысл к детям шел по льду, зимою по озеру бежал на базлуках⁴: там снегу не живет, там морозы велики и льды толсты — близко человека намерзают [то есть почти в человеческий рост — М.Р.]. А мне пить зело захотелось. Среди озера стало. Воды не знаю где взять; от жажды итти не могу; озеро верст с восьм; до людей далеко. Бреду потихоньку, а сам, взирая на небо, говорю: «Господи, источивыи Израилю, в пустыни жаждущему, воду тогда и днесь! Ты же напои меня, ими же веси судьбами». Простите, Бога ради! Затрещал лед, яко гром, предо мною, на высоту стало кидать, и яко река, разступился сюду и сюду, и паки снидесе вместо, и бысть гора льду велика⁵. А мне оставил Бог пролубку⁶. И дондеже строение Божие бысть, аз на Восток кланялся Богу, и со сле-

⁴ Базлуки (слово, употребляемое сибиряками) — скобы с шипами, которые надевают на обувь, чтобы ходить по льду.

⁵ Такое явление нередко имеет место в зимнее время на различных озерах. Точность наблюдений Аввакума представляет интерес для географов. См. [Савицкий П.Н., 1929, с. 218–231].

⁶ Пролубка, пролуб — прорубь, проруб, отверстие во льду, пробитое для добычи воды. Есть народная загадка: У пролубки сидят две голубки? Ответ: ложки в миске шей.

зами припал к пролубке, и напился воды досыта» [Житие протопопа Аввакума, 2010, с. 200].

156 Интересно, как в этом отрывке неразрывно переплетаются явления мира естественного с ощущением божественного миропорядка, присущим автору. Подобные отрывки отнюдь не редкость в автобиографии протопопа. Так, он первым из русских авторов оставил описание шаманского камлания: «Отпускал он [воевода Афанасий Пашков — М.Р.] сына своево Еремея в Мунгальское [Монгольское — М.Р.] царство воевать, — казаков с ним 72 человека да тунгусов [эвенков — М.Р.] 20 человек. И заставил иноземца [видимо, даура — М.Р.] шаманить, сиречь гадать, удастся ли им поход и з добычаю ли будут домой. Волхв же той мужик близ моего зимовья привел живова барана ввечеру и учал над ним волхвовать, отвертя голову прочь, и начал скакать и плясать, и бесов призывать, крича много; о землю ударился, и пена изо рта пошла. Беси ево давили, а он спрашивал их, удастся ли поход. И беси сказали: «С победою великою и з богатством большим будете назад» [Житие протопопа Аввакума, 2010, с. 194]. Очевидно, что как глубоко верующий христианин Аввакум мог оценивать шаманскую деятельность исключительно в негативном плане. Тем не менее, сам ритуал описан в «Житии» коротко, но вполне ясно и реалистично. Нужно ли удивляться, что поход Еремея закончился вскоре полным провалом: «Таже Еремей, со отцем своим поклоняся, вся подробно рассказал: как без остатку войско побили у него, и как ево увел иноземец пустым местом раненова от мунгальских людей, и как по каменным горам в лесу седм дней блудил, не ядше — одну белку съел — и как моим образом человек ему явился во сне, и благословил, и путь указал, в которую сторону идти» [Житие протопопа Аввакума, 2010, с. 196]. Опять мы видим тесную взаимосвязь между миром реальным и символическим пространством чудесного: эта взаимосвязь пропитывает все автобиографическое повествование Аввакума.

Еще на один важный аспект «Жития» как памятник эпохи зарождения старообрядческой мысли хотелось бы обратить внимание. В истории западного, главным образом англо-американского, протестантизма, существует такое явление, ко-

торое называют *ревивализмом* (от английского слова *revival* — возрождение), представляющее собой движение за духовное возрождение посредством усиления религиозности. Очевидно, что старообрядчество в том виде, в каком оно оформилось ко второй половине XVII века, представляло собой классическое ревивалистское движение только не в протестантизме, а в недрах русского православия. Если взглянуть под этим углом на «Житие» протопопа, то нельзя будет не заметить в нем черты краеугольного ревивалистского документа для старообрядческого дискурса второй половины XVII в. Естественно, при этом надо учитывать разницу протестантской и православной традиций, в каждой из которых борьба за духовное возрождение проходила со своими характерными особенностями. Старообрядцы во главе с Аввакумом стремились вернуться к той классической практике православного богослужения, которая бытовала на Руси до внедрения церковных реформ, связанных с именем патриарха Никона. Человек, согласно Аввакуму, созданный по образу и подобию Божию, должен быть привержен в первую очередь духовным, а не мирским ценностям. Добровольно принимая принцип необходимости повиновения царской власти, протопоп отвергает ее право силой навязывать поддерживаемые ею убеждения: «Чюдо, как то в познание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да висилицею хотят веру утвердить! Которые-то апостолы научили так? — не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолом так учить» [«Житие протопопа Аввакума...», 1960, с. 109].⁷ Впоследствии в основных течениях старообрядчества пророческий дух огнепального протопопа был довольно быстро утрачен, но в конце XVII и XVIII вв. возникают новые ревивалистские движения среди старообрядцев. К ним можно отнести согласия федосеевцев, филипповцев и странников.

157

Отдельный сюжет — влияние «Жития» на русских писателей. Оно начинает проявляться только со второй половины XIX века, когда «Житие» уже было издано и стало доступно широкому кругу читателей. Его очень ценил Иван Сергеевич Турге-

⁷ См. также ссылку на текст «Жития»:

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12294&ob_no=12295. В Пустозерской рукописи «Жития» это место отсутствует.

нев. По словам писательницы А. Лукониной, автобиография Аввакума сопровождала Тургенева за рубежом. Она вспоминала: «Иван Сергеевич встал, порылся в книжном шкафу и достал «Житие Аввакума». «Вот она, — сказал он, — живая речь московская... Так и теперешняя московская речь часто режет слух, а между тем, это речь чисто русская...» [Луконина А., 1887, с. 57].

Высоко ценил «Житие» Алексей Николаевич Толстой: «Только раз в омертвелую словесность [XVII века — М.Р.], как буря, ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос. Это были гениальные «житие» и «послания» бунтаря, неистового протопопа Аввакума, закончившего литературную деятельность страшными пытками в Пустозерске. Речь Аввакума — вся на жесте, канон разрушен вдребезги, вы физически ощущаете присутствие рассказчика, его жесты, его голос. Он говорил на «мужицком», «подлом» языке» [Толстой А.Н., 1961, стр. 263—264]. На мой взгляд, следы влияния языка Аввакума заметны в романе А.Н. Толстого «Петр I».

158 Поэт Максимилиан Волошин (1877—1932) бережно переложил текст «Жития» и выдержки из посланий Аввакума в белые стихи. Так появилась его замечательная поэма «Протопоп Аввакум», впервые напечатанная в его сборнике «Демоны глухонемые» [Волошин М., 1919].

О жизни протопопа Аввакума написано немало исторических романов и повестей. Отмечу последний по времени роман «Гарь» Глеба Пакулова (1930—2011). Автор в течение 25 лет тщательно собирал материалы и писал свою книгу [Пакулов Г.И., 2006].

В настоящее время «Житие» переведено на английский, французский, немецкий, итальянский, польский, венгерский, турецкий, шведский и японский языки. Особенно выделяется высоким литературным качеством перевод Пьера Паскаля (1890—1983), тонкого знатока творчества Аввакума. В 1922 г. Паскаль работал в одном из московских научных институтов и случайно прочитал «Житие». Книга его потрясла. Позднее он писал: «Передо мной живо вырисовывался Московский XVII век! Каким он представлялся мне разнообразным, то удивительно далеким, то столь близким XX веку! И передо мной выриси-

вывалась душа исключительного человека с глубоким чувством совести, несокрушимая вплоть до самой смерти. В нем, в этом гениальном человеке, обитала удивительная духовная свобода, питаемая глубокой верой в провидение и постоянным погружением в сверхчувственный мир» [Паскаль, рукопись, с. 1–2]⁸. Действительно, Аввакуму удалось послать из пустозерского подземелья очень сильный сигнал современникам и потомкам, свидетельствующий о самых основах человеческого существования.

Литература

- Волошин М.* Демоны глухонемые. Харьков: Камена, 1919.
- Житие протопопа Аввакума // История субъективности: Древняя Русь / сост. Ю.П. Зарецкий. М.: Гаудеамус, 2010.
- Житие протопопа Аввакума им самим написанное. М.: Гослитиздат, 1960. С. 109. 159
- Луконина А.* Мое знакомство с И.С. Тургеневым // Северный вестник. 1887. №2. С. 57.
- Окладников Н.А.* Острог на Печоре: о государевой крепости, протопопе Аввакуме и его союзниках. Архангельск: Сев.-Зап. Кн. Изд-во, 1999.
- Пакулов Г.И.* Гарь. Новосибирск: Слово, 2006.
- Паскаль П.* Аввакум и начало Раскола. М.: Знак, 2010.
- Паскаль П.* Аввакум и начало раскола. Перевод С.С. Толстого. Рукопись из личного архива автора, С. 1–2.
- Поньрко Н.В.* Узники пустозерской земляной тюрьмы // Древнерусская книжность: по материалам Пушкинского Дома. Л.: Наука, 1985.
- Пустозерский сборник. Л.: Наука, 1975.

⁸ Пьер Паскаль. Аввакум и начало раскола. Перевод С.С.Толстого, рукопись из личного архива автора, С. 1-2. В 2010 г. этот перевод был опубликован московским издательством «Знак»: Паскаль П. Аввакум и начало Раскола. М., 2010.

Савицкий П.Н. «Житие» протопопа Аввакума как географический источник // Научные труды русского народного университета в Праге. 1929. Т. II. С. 218–231.

Толстой А.Н. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1961. С. 263–264.

Чумичева О.В. Большой Московский Собор 1666–1667 гг. // Православная энциклопедия. Том V. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. С. 682.

La date // La Vie de L'Archiprêtre Avvakum écrite par lui-même (traduite du vieux russe en français avec introduction et commentaires par Pierre Pascal). Paris: Gallimard, 1938. p. 36–38.

La Vie de L'Archiprêtre Avvakum écrite par lui-même / traduite du vieux russe en français avec introduction et commentaires par Pierre Pascal. Paris: Gallimard, 1938.

Ольга Морозова

Нарратив профессора И.А. Малиновского

Холодной зимой 1919–1920 гг. профессор гражданского права Донского, бывшего Варшавского русского, университета Иоанникий Алексеевич Малиновский (1868–1932), находился в Екатеринодаре один без семьи, оставленной им в Ростове-на-Дону. Он бежал от красных, занявших город. Обычно загруженный кучей дел здесь в кубанской столице он скучал и тосковал по жене и дочерям. Надеясь увидеться вновь, он решил подготовить Марии Александровне подарок — свои воспоминания. Они были начаты 8 января и закончены в середине марта 1920 г., после возвращения в Ростов действительно преподнесены жене [Малиновский].

Хотя постмодернистская теория, из которой позаимствован термин «нарратив», не любит схем и обобщений, разрушающих уникальность каждой судьбы и каждого события, испытывая давление прошлого опыта, я не смогу отказаться от сопоставлений и анализа, потребность в которых возникла после чтения этого текста.

Нарратив самодостаточен и несет в себе знание о «конце повествования», т.е. о том, чем все закончится. Этим тексты Малиновского отличаются от идеального нарратива. Известны сопутствующие архивные документы, дополняющие, а подчас и дезавуирующие содержание воспоминаний. Да и о «конце» говорить еще рано. В 1920 г. Малиновскому был 51 год, ему отведено было еще почти 13 лет жизни. И после возвращения в заня-

тый красными Ростов начался заключительный период его биографии — арест, суд, лагерь, освобождение, избрание академиком. Умер Иоанникий Алексеевич своей смертью в Киеве в возрасте 64 лет.

И, тем не менее, семантическая завершенность в тексте есть. Как многие, зимой 1920 г. он надеялся, что успех большевиков временный, но все же период вынужденного безделья заставил его заново взглянуть на свой жизненный путь и подвести некоторые итоги. Он хотел вспомнить события прошлой жизни, большей частью дарившие ему положительные эмоции, и привести в порядок свои чувства по отношению к жене, любимой, но ставшей в последнее время источником переживаний.

Киев

162

Иоанникий Алексеевич происходил из ремесленников г. Острога Ровенской губернии и, учась в Киеве, помощь из дома получал небольшую. Его духовным наставником был дядя, военный врач в отставке, который одобрял выбор племянника и оказывал посильную поддержку. Из воспоминаний Малиновского становится известен поистине тернистый путь юноши из народа к университетскому жетону, хотя жизнь предоставляла много вариантов образованному человеку обеспечить себя. Это — частные уроки, преподавание в начальных и средних учебных заведениях, служба в просветительских учреждениях. Если образование могло еще быть получено на положении казенно-коштного студента, то профессиональное становление было еще более сложным. Вот как описал Иоанникий Алексеевич этот период своей жизни:

«Я блестяще окончил Университет с дипломом первой степени и круглым "весьма" по всем предметам и золотой медалью за сочинение, которое факультет постановил напечатать в "Университетских Известиях". Но что делать дальше? Я твердо решил избрать ученую профессорскую карьеру. Я имел все шансы на то, что на пути к этой карьере не встречу серьезных препятствий. Но я знал, что путь лежит через оставление при уни-

верситете для подготовки к профессорскому званию, а вопрос об этом оставлении не может быть решен немедленно, напротив, потребует длинной канцелярской волокиты. Далее, я знал, что когда вопрос об оставлении при университете и будет решен, то нельзя сразу, с первого же года рассчитывать на получение казенной стипендии, я мог поступить кандидатом на судебные должности, но без содержания; даже на самое скромное вознаграждение сразу рассчитывать не мог. Можно было записаться помощником к присяжному поверенному, но и тут нельзя было рассчитывать на какой-нибудь заработок. У меня были кое-какие сбережения, они ушли на приобретение штатского платья взамен студенческой формы; оставалось всего лишь несколько рублей. И вот вопрос о хлебе насущном встал тогда передо мной и угнетал меня» [Малиновский, с.7].

Его, как и многих других несостоятельных студентов, выручало репетиторство. Особенно ценными были «летние уроки», когда студентов приглашали в сельские имения для занятий с детьми, находящимися на вакациях, на полный пансион, да еще и с выплатой денежного вознаграждения. Эта традиция, поддерживаемая поместным дворянством, оказала неоценимую услугу российской культуре и науке. Со стороны работодателей это был явно альтруистический шаг, — желание поддержать и подкормить бедных студентов. Например, Малиновский, уехав на летние уроки в полтавское имение помещиков Трифоновских, застрял у них на два года и тем самым собрал достаточную сумму, чтобы пройти этапы подготовки к профессорскому званию. Затем Малиновский устроился секретарем Комиссии народных чтений, организовывавшей общедоступные лекции, с казенной квартирой.

Университетский жетон давал таким молодым людям, как Малиновский, пропуск в дома, существенно превосходившие по статусу среду его происхождения. Он, человек далеко не выдающейся внешности, стал желанным гостем во многих семьях, имевших дочерей на выданье. Выбрал Марию Конисскую, девушку из интеллигентной и состоятельной семьи, которая вла-

дела несколькими доходными домами в Киеве, двумя дачами в Боярке и имением Плиски в Черниговской губернии. Одну из квартир у них снимал известный ученый-юрист М.Ф. Владимирский-Буданов, учитель Малиновского, с которым он дружил. Более того, робкого юношу ободрила сама Мария Александровна. Ее родные не возражали, их брак мезальянсом не казался.

Мария Конисская окончила гимназию первой ученицей, с золотой медалью. В то время о высшем образовании женщины нельзя было мечтать: Женские Высшие Курсы были закрыты. Ей пришлось оставить мечты о продолжении образования и искать себе жизненное поприще. Малиновский с нотками гордости описывает первые профессиональные шаги своей жены.

«Сначала давала частные уроки. Как выдающаяся ученица в гимназии легко получала выгодные уроки по рекомендации начальницы гимназии и учительниц. Это не могло удовлетворить надолго. Да и утомляло сильно: каждый день, и в хорошую и в дурную погоду, нужно было бегать из одного конца города в другой. Нужна была более благодарная и более ответственная работа. Остановилась на мысли — открыть начальную школу для мальчиков и девочек и пансион для гимназисток. Сама была главной рабочей силой: начальницей школы и пансиона, преподавала в школе, следила за занятиями пансионеров и помогала им; дала работу сестрам — Люсе и Наталье — и в школе, и в пансионе. Дело пошло великолепно. Школа скоро приобрела репутацию образцовой. Пансион пользовался наилучшей славой у начальниц женских гимназий и родителей учениц» [Малиновский, с. 14–15].

Два интеллигентных человека стремились выстроить свои отношения на новых возвышенных основаниях, не допустить в них ложь, ханжество, грязь. Все начиналось чудесно. И спустя 25 лет Иоанникий Александрович не мог вспоминать об этом без волнения.

«Меня беспокоило то, что Маруся не все обо мне знает, хотя мы и давно уже знакомы. Я написал Марусе

длинное, в несколько листов, письмо, подробно рассказал свою биографию, перечислял все свои пороки и недостатки, ничего не утаивая и не смягчая... [...] В частности, мучило меня то, что должно мучить всякого мужчину в таком же положении. Я собирался связать навсегда свою жизнь с девушкой, которая сохраняла невинность и чистоту, я уже загрязненный и порочный. Этот вопрос о половой нравственности встал передо мной во всей остроте еще тогда, когда началось мое сближение с Марусей осенью 1895 года... Я тогда ясно понял и больно почувствовал глубокую несправедливость и ненормальность различной оценки досвадебного поведения невесты и жениха. Мерка должна быть одна и та же. [...] Чистота должна быть обоюдная. Вследствие посторонних дурных влияний, вследствие собственного легкомыслия и слабости воли я утратил чистоту. Но прошлого не вернуть. Я решил твердо, по крайней мере впредь, себя не грязнить, для того, чтобы хоть до некоторой степени загладить свою вину перед Марусей. И я исполнил свое решение. Обо всем этом я написал Марусе, просил ответить, до ответа не показывался на глаза. Маруся ответила, что плакала, читая мое письмо, благодарила за откровенность и закончила обещанием сделать все возможное, чтобы нам жилось хорошо» [Малиновский, с. 21].

165

После свадьбы Мария планировала постепенно ликвидировать свой пансионат, и Иоанникий Алексеевич должен был стать главой и опорой семьи. Однако он не имел в тот момент постоянной работы, и перспективы его профессорской карьеры были еще туманны. Он получал единственное надежное содержание как преподаватель кадетского корпуса. В Киевском университете считался приват-доцентом юридического факультета, а это значит, что работал без жалования. Он поочередно интересовался должностями инспектора ведомственных школ Юго-Западной железной дороги, инспектора торговой школы, секретаря Киевской городской управы, но все хлопоты по разным причинам оказывались пустыми. Появился вариант вступить в

состав юридического факультета Новороссийского университета в Одессе, но узнав о тяжелой моральной атмосфере на кафедре, на которую предполагалось устройство, он отказался от этих планов. Тем не менее, подготовка к свадьбе шла на хорошем буржуазном уровне.

«Шли приготовления к свадьбе и к нашей послесвадебной жизни. Шили приданное Марусе: белье, подвенечное платье, дорожное платье. Белили потолки и оклеивали обоями нашу будущую новую квартиру. Мы выбрали обои по своему вкусу: для столовой под цвет дуба, для спальни розовые, для моего кабинета — солидные темно-красного цвета, для Марусинога кабинета — оливкового, для школы — светлые, серые. Заказали новый турецкий диван для моего кабинета. У Маруси был гарнитур мягкой мебели; отдали в мебельную мастерскую Романовского сделать новую обивку; сами выбрали материю для обивки Марусинога гарнитура и моего дивана под цвет обоев; из материи для обивки Марусинога гарнитура заказали гардины на окна и двери в Марусином кабинетике: купили парусиновые шторы для моего кабинета, деревянные шторы и тюлевые розовые занавески для спальни, бумажную штору для Марусинога кабинетика. Кровати, очень хорошие, металлические, полуторные, с пружинными матрасами и волосяными тюфячками заказала Марья Александровна — старшая [мать Марии — О.М.] на фабрике Леви; это был ее свадебный подарок; она же подарила подушки, покрывала и все постельное белье. Покрасили окна и двери. Когда новая квартира была готова, перенесли в нее все наши вещи. Разослали пригласительные билеты на свадьбу» [Малиновский, с.28].

166

После венчания молодые убыли в свадебное путешествие к морю в двухместном купе первого класса в поезде «Молния», идущем в Одессу. Начало нового учебного года Ника и Маруся, так они стали называть друг друга, встретили во вполне удовлетворительном с материальной точки зрения положении, которое

их не удовлетворяло в силу неясности положения молодого бакалавра.

«Школа приносила Марусе доходы, достаточные для того, чтобы прожить безбедно не только одной, но и вдвоем. Мне предложили в Кадетском корпусе, кроме законоведения, преподавать историю. Всего у меня было 20 уроков, что давало в год 1400 рублей, большие деньги по тому времени. Кроме того, я мог объявить в Университете необязательный курс, и за 2 недельных часа получить еще 600 руб. Одним словом, с материальной стороны мы были совершенно обеспечены» [Малиновский, с. 40–41].

И тут из Министерства народного просвещения пришло предложение занять должность экстраординарного профессора Томского университета, в составе которого тогда открывался новый юридический факультет. Он был назначен исполняющим должность экстраординарного профессора с установленным для Томского университета полугорным окладом содержания по 3000 руб. в год с правом перевода на должность ординарного после получения степени магистра.

167

В Томск ехали через Москву, из которой уже был пущен Сибирский экспресс. Там началась для Малиновского карьера университетского преподавателя и ученого.

Томск

В молодые годы Малиновский — определенно вольнодумствующий университетский профессор. Был активным кадетом. Участвовал в работе делегатского съезда партии в феврале-марте 1906 г.

Занятий в университете зимой 1905 — 1906 гг. не было. Сначала в городе прошел черносотенный погром, когда многим деятелям «вредного направления» пришлось спасать свои жизни, потом в январе 1906 г. в городе было введено военное положение. Это позволило ему провести с семьей весну и лето 1906 г. в Крыму. После возвращения в Томск Малиновский много занимался общественной деятельностью, выборами в Государ-

ственную думу. Был хорошо знаком с томскими делегатами Н.Н. Розиным и П.В. Вологодским, будущим главой Временного Сибирского правительства и членом правительства А.В. Колчака. Но главным содержанием его жизни в 1906 — 1907 гг. стало редактирование газеты «Сибирская жизнь», ставшей рупором сибирской интеллигенции кадетско-эсеровской ориентации. Газета неоднократно вызывала со стороны властей нареkania «ввиду крайне возмутительного, а потому в высшей степени антипатичного направления». Реакцией на «оппозиционное настроение» газеты «Сибирская жизнь» стало письмо попечителя Западно-Сибирского учебного округа Л. Лаврентьева, который 28 августа 1910 г. обратился к управляющему Томской губернией со следующим заявлением:

«В Министерстве народного просвещения неоднократно возникал вопрос о несовместимости издания и редактирования газеты “Сибирская жизнь”, ввиду направления сей газеты, с профессорскою деятельностью. Принимая во внимание, что и в настоящее время направление этой газеты остается неизменным, и признавая совершенно недопустимым дальнейшее участие профессоров университета в издании и редактировании названной газеты, его превосходительство господин министр народного просвещения предложил мне профессорам Соболеву и Малиновскому немедленно отказаться от издания и редактирования газеты “Сибирская жизнь” или оставить службу в университете» [Жилиякова, 2009, с. 107].

168

Тогда Малиновский заявил, что уже не сотрудничает с газетой. В тексте воспоминаний этот шаг получил иной комментарий: ушел с редактирования по требованию властей. Но уже давно возникший к нему интерес жандармов не ослаб. В 1909 г. он издал книгу «Кровавая месть и смертная казнь», посвятив ее жене и детям, потому что в ней «формулировал святая святых своих политических и научных убеждений». Она была поднесена царю, одобрена Л.Н. Толстым, который написал автору признательное письмо. Но спустя два года книга была прочитана казанским губернатором, который обнаружил в ней крамольное

содержание. Малиновский был привлечен по политической 129 статье — пропаганда революционных идей. На суде защите удалось добиться чтения книги на заседании (дело слушалось при закрытых дверях). Гуманистическая направленность текста была очевидна, последовал оправдательный приговор. Но он был отменен Сенатом. На вторичном суде его все же приговорили к месяцу тюрьмы, но он тут же попал под манифест о помиловании. После этого он много «претерпевает» от чиновников, надзирающих за университетами. Ему как кадету и либеральному журналисту не дают положенную годичную командировку, увольняют из Томского университета и не дают занять место, выигранное им по конкурсу, назначают против его желания в другой университет на должность экстраординарного (внештатного) профессора, что уже не соответствует его статусу доктора права.

В течение года он не имеет университетской кафедры, но не бедствует и даже защищает докторскую диссертацию. Интересен приведенный им перечень источников дохода, которые мог иметь осужденный и опальный преподаватель права.

169

«Мое увольнение состоялось в первой половине октября 1911 г. Но сообщение об этом дошло до Томска после 20 октября, и я успел получить октябрьское жалованье. С того времени этот источник заработка был закрыт для меня. Нужно было подумать, на какие средства жить. Я стал писать в “Сибирскую жизнь” больше, чем раньше. Был фактическим бессменным редактором “Сибирской жизни”. Читал в Омске публичные лекции за гонорар. Получил гонорар за справку в Архиве Министерства юстиции в Москве по делу (земельному) томских татар, которое вел присяжный поверенный Александровский; получил пособие от Министерства (600 р.) на печатание диссертации; получил пособие от Академического Союза (ок. 2000 р.). В конце концов, я имел не меньше того, сколько получал, когда был профессором, и жили мы с прежним комфортом.

Был в виду еще один источник заработка... По частному поручению бывшего первого русского премьер-

министра С.Ю. Витте, чиновники Министерства финансов под руководством П.И. Рудченко сделали выписки из русских газет и журналов всего того, что писалось о Манифесте 17 октября 1905 г.; небольшие заметки были переписаны; большие статьи были собраны в оригиналах. Кроме того, собраны были протоколы заседаний Комитета Министерства и разных совещаний, в которых обсуждался вопрос о государственной реформе. Накопилось материалов два ящика. Нужно было их обработать. [...] Предполагалось, что выйдет большое издание в 3–4 томах...» [Малиновский, с. 85].

170 По-видимому, ряд оценочных линий текста имеет целью обоснование и оправдание его политической и общественной платформы. Малиновский приводит факты афронта и демонстративной независимости интеллигентской среды, ее явную конфронтационность правительственным чинам и действиям. Когда Малиновский, будучи назначенным в Варшавский университет, ознакомился со студентами и коллегами, он боялся быть принятым холодно: ведь в университетах не любили назначенных министерством, предпочитая избранных учеными советами. Но весть о том, что он был под следствием и судом за книгу, осуждающую смертные казни и одобренную самим Л.Н. Толстым, дошла и до Варшавы, и он был встречен как триумфатор: перед вступительной лекцией и после нее ему устроили овации.

Малиновский, конечно, либерал, вольнодумец, но не фанатствующий революционер-радикал. В текст его мемуаров включены зарисовки старорежимного времени, которые в 1920 г. его греют именно потому, что они память о той самой старой жизни, в которой он своим трудом и умом весьма преуспел. Привлекает внимание то, что они не сопровождаются никакими оценками, комментариями, даны в форме непосредственного восприятия.

«Когда приезжал в Петроград, часто ходили в театр — всей семьей и вдвоем с Марусей. Были с Марусей в Мариинском театре на “Борисе Годунове” (в ложе учительниц Стоюнинской гимназии [в которой работала

Мария Александровна, живя три года с детьми в столице — О.М.]), когда весь хор, артистки и артисты, в том числе Шаляпин, пели гимн на коленях перед царской ложей. Шаляпин, как всегда, играл неподражаемо. В театре особенная публика: царь, царица, много великих князей и княгинь, министры, члены Государственного Совета, дипломаты, генералы. [...] Занавес опустили. В партере раздалось несколько голосов “гимн, гимн”. Подняли занавес. На сцене уже были хор артистки и артисты. Пропели гимн. Занавес. Крики “bis”. Пропели второй раз. Снова крики “bis”. Когда на этот раз подняли занавес, то все бывшие на сцене уже стояли на коленях, в таком положении исполнили гимн в третий раз» [Малиновский, с. 73].

Описанный эпизод относится, судя по месту в записях, к зиме 1911 г. Крайне любопытно было бы узнать, как оценили это выражение верноподданнических чувств артистов Иоанникий Алексеевич и Мария Александровна, обсуждая дома события того вечера. А в мае 1915 г. профессор Малиновский даже побывал в Царском Селе на аудиенции у царя. На волне патриотических настроений и идей о единении нации в борьбе с врагом совещание профессоров русской истории и истории русского права постановило поднести адрес государю и просить о разрешении созвать съезд русских историков в год 25-летия царствования и взять этот съезд под свое покровительство. Адрес был составлен и отпечатан. Государь пожелал принять всех подписавших адрес [Малиновский, с. 114]. Но год 25-летия царствования пришелся на 1919 г.

171

Варшава — Ростов-на-Дону

Воспоминания имеют ярко выраженный личный характер: они написаны как подарок жене! Поэтому те события, которые напрямую не касались семьи, просто отсутствуют в тексте или упоминаются вскользь, хотя Иоанникий Алексеевич был в текущих событиях далеко не пассивен. Например, в годы первой революции много печатался в прессе, ездил на учредительный

съезд кадетской партии, был избран выборщиком депутатов Государственной думы. Из той части воспоминаний, которая описывает жизнь семьи в этот период, проступает некоторая особенность той революции. Жизнь государственных структур была парализована: поезда не ходили, занятий в университете не было; но публика вела привычный образ жизни: весну и лето провели как обычно — на даче в Ялте, впрочем, Малиновский много внимания уделял выступлениям на устраиваемых местным комитетом кадетской партии собраниях.

Обращает на себя внимание участие Малиновского в делах, находившихся в ведении жены, таких как воспитание дочерей, вопросы их здоровья, хождение по магазинам, совершение покупок, наем прислуги и пр. Никогда раньше в мужских мемуарах видеть столь значительным этот пласт информации не приходилось. Первое объяснение связано с мотивом написания текста и его «адресатом». А второе оттеняет особенности мироощущения Иоанникия Алексеевича.

172 Патриархальное народное сознание делит мужскую и женскую сферы жизни мощными стенами табуирования. Мужчине на женскую половину нельзя — не по статусу и позорно. Иное в аристократических кругах: дети — наследники — важны главе семьи; приобретение вещей находится под контролем, т.к. обладание ими работает на общественное реноме семьи.

В тексте своих воспоминаний Иоанникий Алексеевич упоминал, что его интересовал аристократизм как научная проблема в рамках истории права.

«Я уже начал работать над диссертацией. Остановился на теме о “Раде Великого княжества Литовского в связи с боярской думой древней России”; остановился, отчасти следуя советам М.Ф. Владимирского-Буданова, отчасти подчиняясь своей собственной научной любознательности: интересовался вопросом о роли и значении аристократического начала в государственной жизни» [Малиновский, с.51].

Он был убежден в благотворности влияния аристократизма на низшие слои общества. Там, где он разоблачает неприглядную роль сенатора Гредингера, подчеркивалась позиция

«первоприсутствующего для суждения дел о государственных преступлениях» сенатора А.Н. Кривцова, стремящегося строить деятельность следственной комиссии на букве закона. Кривцов даже накричал в кулуарах на Гредингера за допущенное им искажение фактов, на которое указал адвокат Грузенберг. Малиновский не преминул подчеркнуть, что Кривцов — крупный землевладелец и аристократ. Ему, происходящему из ремесленников, интеллигенту в первом поколении выполнение действий, символизирующих принадлежность к новому социальному слою, крайне важно. Спустя годы он подробно помнил свои первые шаги на новом поприще и гордость за жену, в которой сочетались многие престижные качества, ценимые той эпохой: ум, образованность, прогрессивность суждений, некоторая «неблагонадежность» прошлого ее отца украинофила Конисского, высокий общественный статус семьи.

«В то время профессора обязаны были быть в форме при исполнении служебных обязанностей. Форма была двух родов: старая, традиционная — вице-мундир и новая, заведенная министром юстиции Муравьевым для членов судебного ведомства, а потом заведенная и другими ведомствами — сюртук с погонами на плечах (я заказал себе вице-мундирную пару). Шил портной Рязанов, шил с большим усердием, так как сына своего отдал в Университет на юридический факультет. Я делал визиты членам Совета. Отдавали визиты обыкновенно в мое отсутствие; Маруся принимала» [Малиновский, с. 48].

173

Малиновский трепетно относился к традициям университетского сообщества. В трудных случаях, опасаясь невольно нарушить этику своей среды, он неизменно советовался с авторитетными лицами — М.Ф. Владимирским-Будановым, И.М. Гревсом и др.

Иоанникий Алексеевич старался строить свою жизнь на принципах благородства. Как упоминалось, еще до свадьбы поклялся себе соблюдать супружескую верность. Его уважали студенты. Он с большой ответственностью относился к чтению лекций. Всегда долго их готовил, писал полный текст. Потом читал

лекцию жене, но всегда оставлял рукопись дома, беря с собой только необходимые выписки с цитатами. Студенты устраивали ему овации, он получал одобрение министерских чиновников, инспектировавших новый университет, — высокая оценка его кропотливого труда, когда давала ему самоуважение и делала счастливым. Уважение к его труду было краеугольной ценностью семьи. Это было традицией профессорского быта. Княгиня Трубецкая, когда ее муж Сергей Николаевич, известный философ, занимался в кабинете, запрещала детям шуметь: папа работает!

174 Неслучайно, проживая в Томске, где превалировала деревянная застройка, и часто случались пожары, Малиновский говорил маленьким дочерям: что в первую очередь надо спасти диссертацию, которая всегда находилась в саквояже, стоящем около его рабочего стола. Эта внушение позволило спасти рукопись во время пожара, уничтожившего их дом и почти все имущество: 11-летняя Евгения взяла саквояж и вышла из дома. Очевидно, что Иоанникий Александрович жил действительно наполненной и счастливой жизнью. Конечно, был и период преследований за печатание книжки, которую признали крамольной, бывали размолвки с женой, которые к большому его сожалению становились все более частыми, но у него был надежный компенсаторный ресурс — работа и общение с коллегами.

Малиновский давал пространные живописания мест, в которых бывал. Кроме двух — Киева и Томска. В этом также чувствителен процесс поиска аристократизма.

В Томске и Киеве произошли самые значительные события его жизни, это места его личностного становления. Они были выше любых оценок, они как пик сверхценности были качественно другими объектами для Малиновского.

К середине осени 1914 г. фронт с Германией стабилизировался в 35 верстах от Варшавы. Жизнь в городе успокоилась и в университете начались занятия. 23 июля 1915 г. Варшава была неожиданно оставлена русской армией. Профессорско-преподавательский состав и студенты в связи с вакациями покинули к тому времени стены университета и оказались «бездом-

ными». Весьма оперативно 12 августа был поставлен вопрос о судьбе университета, решенный в пользу Ростова-на-Дону.

Парная сравнительная характеристика, данная Ростову-на-Дону и Варшаве, городам, в которых ему пришлось работать по воле обстоятельств, интересна фактурой, деталями городской жизни и передачей психологической атмосферы.

«Первое, что бросилось в глаза, когда приехали в Варшаву, это чистота, необыкновенная чистота. [...] После дождя или снега выходят дворники с метлами, сметают мокрый снег и грязь в водосточные трубы; если солнце прогреет, то через полчаса уже совершенно сухо. В великую субботу мы [...] в Варшаве, шли без ка-лош. [...]

...Когда я вышел на Невский и невольно сравнил его с Маршалковской и Новым Светом, то сделалось обидно: столица русского государства значительно уступала Варшаве; здесь еще не доросли до того, чтобы ценить чистоту так, как уже привыкли ценить ее в Варшаве. [...]

175

Любовь к чистоте, к зелени, к цветам свидетельствуют о культурности населения. О культурности свидетельствует также обилие жизненных удобств и дешевая плата за пользование этими удобствами. За 76 р. в месяц мы имели небольшую, правда, но великолепную квартиру с массой заметных и незаметных удобств; два лифта, электричество, газ, газовая кухня, газовая ванна (в любое время можно было взять ванну: открыл рожок, чиркнуть спичкой, газ загорался, и через 5–10 минут готово); в коридоре два громадных шкафа в стене для платьев... в окнах сделаны ober-luft`ы — верхняя часть окна механически открывается и закрывается, и можно без сквозного ветра проветривать квартиру; в том же доме внизу были лавочки, где можно было добыть все самое необходимое; газ, электричество, уголь стоили дешево. [...]

Дешевизна — это тоже характерная черта варшавской жизни. Можно было жить с большим комфор-

том, роскошно и проживать большие деньги. Но можно было прожить дешево и с достаточным комфортом. [...] Дешево стоили места в театры и на концерты.

В Варшаве были так называемые правительственные театры — драматический, оперный и опереточный. Представления давались на польском языке. [...]

Типичная, настоящая Варшава — польская. Мы жили в этой польской Варшаве, пользовались всеми теми удобствами жизни, какие она дает. [...] Рассказы о насаждении русской культуры относились к области мифов. Какую культуру мы насаждали в Варшаве? Русские чиновники в Варшаве в большинстве случаев были авантюристами, карьеристами, взяточниками. Русский театр походил на балаган. Русские газеты, выходявшие в Варшаве, производили жалкое впечатление при сравнении с газетами польскими. [...]

176

Делал свое культурное дело Варшавский Университет. Но, во-первых, это был захудалый провинциальный университет... во-вторых... был русский университет в Варшаве не потому, что здесь не мог быть польский университет, а потому, что польский университет был запрещен.

Несмотря на высокую культурность и на все жизненные удобства, жить в Варшаве русскому человеку было тяжело. На свое пребывание в Варшаве я смотрел как на временное. Мечтал о том, чтобы при первой возможности перейти в другой, русский, университет. Обстоятельства так сложились, что неожиданно пришлось оставить Варшаву навсегда. И я очутился в Ростове.

Ростов находится в пределах коренной России. Но это не русский город в строгом смысле слова: тут и русские, и армяне, и греки, и евреи. Этнографические грани тут стерты. [...] Ростов находится на казачьей территории — в Области войска Донского. Но Ростов — крупный торгово-промышленный пункт. Торгово-промышленная деятельность интернациональна. И Ро-

стов — город интернациональный. В торговле и промышленности при капиталистическом строе главная цель — прибыль. И заботами о прибыли главным образом живет Ростов. На Большой Садовой ул., на Таганрогском проспекте, на Московской улице — везде на каждом шагу магазины, оптовые склады, конторы, банки. Тут главный нерв ростовской жизни. Все мысли тут направлены на одно и то же — на наживу. О всем остальном или совсем не думают, или думают очень мало, так, для приличия. [...] В Варшаве была чистота. В Ростове улиц не поливают, и когда нет дождя, уличная пыль носится облаками; по главным улицам снуют целые обозы с мукой, известью, мелом, углем; за ними несутся густые клубы белой и черной пыли, которая попадает в легкие обывателей; и никто не позаботится о том, чтобы накрыть эта телеги брезентами.

В Варшаве можно было жить на широкую ногу, тратя громадные деньги, но можно было с достаточным комфортом прожить, располагая и ограниченными средствами. В Ростове жизнь рассчитана преимущественно на большие средства. Ибо богатства тут слишком много и наживались они легко, разными способами — и допустимыми и недопустимыми. [...] А если не было того, что пахнет уголовиной, то была спекуляция, биржевая игра и разные законные способы обогащения. Миллионы давали тон. [...]

Была интеллигенция. Но значительная часть ее плыла по течению, была на службе у капитала, разделяла господствующее стремление к наживе. Оставался очень тонкий слой настоящей идейной интеллигенции. [...] Партия Народной Свободы — интеллигентская по преимуществу. В Ростове она буржуазная по преимуществу.

Нас Ростов встретил чрезвычайно радушно. Нам удалось найти очень удобную квартиру. [...] В Ростове у меня установились прекрасные отношения со студен-

тами и курсистками; и я считался одним из популярнейших профессоров. [...]

И, несмотря на все это, Ростов меня не удовлетворял и не удовлетворяет: тяготят сознание того, что приходится работать в атмосфере, насквозь пропитанной спекуляцией и наживой. После переезда Университета Ростов постепенно превращается в культурный центр Юго-востока России. Университет должен оказать свое облагораживающее влияние. Но такого рода завоевания делаются очень медленно» [Малиновский, с. 121–127].

В Варшаве его отталкивало парадоксальное сочетание культурного быта и постоянного ощущения чуждости. В Ростове — слишком явный аромат восточного базара. Обитель его полудобровольного изгнания, Екатеринодар, также получил резкую оценку, рожденную одиночеством, страхом за семью и неопределенностью настоящего и будущего.

178 *«Отвратительный Екатеринодар! Вот город, в котором только крайняя необходимость может заставить жить. Самодовольное, пошлое, невежественное, мелкобуржуазное население. Противный климат» [Малиновский, с.146].*

Даже в этих текстах, выполненных в жанре записки путешественника, видна суть личности Иоанникия Алексеевича — ученого и аналитика. Он не может только смотреть, он должен видеть.

Спустя много лет после смерти Иоанникия Алексеевича, встал вопрос о его национальной принадлежности. Его как всякую видную историческую фигуру потомки рвут на части. Так он — восточный славянин — оказался поляком [Лозовский, 2002]. Волею судьбы и министра народного просвещения Малиновскому пришлось работать в 1912 — 1915 гг. в Варшавском университете. Еще за 15 лет до этого события ему впервые предложили занять одну из вакансий в этом учебном заведении, но тот отказался: «страшила перспектива жить в чужом польском городе». Когда же он все же оказался в Варшаве, то о пребывании русских в Польше написал следующее:

«Но Варшава не могла дать нам нравственного удовлетворения. Мы чувствовали себя в Варшаве чужими людьми. [...] ...Русские в Варшаве — это пришельцы, незваные, нежеланные пришельцы — завоеватели» [Малиновский, с. 124].

В Варшаве он чувствовал себя русским человеком, как и в Москве. Обращает на себя внимание следующий отрывок из воспоминаний, рассказывающий о первом посещении древней столицы:

«...На меня очень сильное впечатление произвел Московский Кремль. При виде старинных кремлевских стен и ворот с башнями, колокольни Ивана Великого, Успенского Собора, при виде Красной площади перед Кремлем с лобным местом и церковью Василия Блаженного... мною овладело какое-то восторженное и вместе с тем жуткое чувство при мысли о том, что здесь колыбель русской государственной мощи» [Малиновский, с.10].

179

У него вызывали восхищение масштабы русской государственности. Умозрительная сопричастность в 1890 г. сменилась чувством ответственности за ее сохранение в послереволюционные годы. В своем екатеринодарском дневнике 1 января 1920 г. он записал, что тост в новогоднюю ночь он произнес за воскрешение измученной страны.

«Я... предложил тост за общую семью — за Россию; пожелал, чтобы новый год был в полном смысле слова новым, чтобы вместе с ушедшим в вечность старым годом ушли от нас кошмары и ужасы нашей жизни, чтобы ожила, воскресла несчастная, измученная, истерзанная и поруганная наша родина, чтобы в новом году мы сделались свободными гражданами единой великой России» [Малиновский, с.152].

Но все же себя он называл и «украинцем по происхождению». Он с удовольствием пел малороссийские песни, вскоре после свадьбы молодая жена ему вышила украинскую рубашку, которой он весьма дорожил. Да и сама Мария Александровна была дочерью известного украинофила А.Я. Конисского. По-

этому любопытно, как он относился к убеждениям своего тестя, с которым не был близок, и к новой украинской государственности. В 1918 г. он невольно оказался на развилке политических путей. Когда получил предложение от Н.П. Василенко и академика В.И. Вернадского вступить в Украинскую Академию наук, согласился. Но вскоре после возвращения из Киева на конференции кадетской партии в Екатеринодаре голосовал за резолюцию о единой России. Когда об этом узнали в Киеве, то исключили его из списка предполагаемых первых украинских академиков.

180 У Малиновского характерная для многих кадетов позиция в еврейском вопросе. У него много евреев-товарищей по партии, единомышленников и коллег-преподавателей. В отличие от многих интеллигентных уроженцев Украины (Н.И. Костомарова, В.В. Шульгина, М.Г. Дроздовского) Малиновский толерантен, пока ему не встретился М.О. Гредингер, член Сената, докладывавший его дело на заседании. Гредингер изложил его тенденциозно, имея очевидные инструкции отменить оправдательный приговор томского суда. Свою негативную реакцию на сенатора Малиновский воплотил в характеристике: «выкрещенный еврей, карьерист». Примечательно, что в это время Малиновского поддерживали правовед М.Я. Пергамент, редактор «Речи» И.В. Гессен, адвокат О.О. Грузенберг¹, который даже представлял его, отказавшись от гонорара.

Такую же странную избирательную ксенофобию демонстрировали многие кадеты и петербургские интеллигенты, например, В.Д. Набоков, Е.Я. Кизеветтер, З.Н. Гиппиус. Если носитель инородческой фамилии единомышленник, то его происхождение не играло никакой существенной роли. В некоторых случаях оно придавало дополнительные краски его положительному образу. Но если еврей принадлежит к глубоко презираемому враждебному лагерю (революционному или правительственному), то характеристика ему вдвое злее и уничижительнее, чем отповедь политическому противнику русскому по про-

¹ С именем О.О. Грузенберга связаны судебные разбирательства после погромов в Кишиневе и Минске, «дело Блондеса» и Пинхуса Дашевского, процесс Менделя Бейлиса.

исхождению. В этом случае нерусскость выпячивается и делается дополнительным недостатком, в некоторой степени объясняя его позицию.

Ростов — Екатеринодар — Ростов

В годы Гражданской войны существовал достаточно узкий слой устроенной публики, которая пыталась воспроизводить заведенный порядок жизни. Это была группа лиц, получавших относительно стабильное жалование. Как ни странно, для военного времени это были профессора высших учебных заведений, врачи, журналисты, артисты. Как следует из сохранившегося дневника Малиновского, доход он получал от преподавания в нескольких учебных заведениях: он читал русскую историю в Коммерческом институте, дисциплину «Древности русского права» в Археологическом институте, а в Народном университете его избрали директором. Нелишними были гонорары от публичных лекций, в том числе и по линии Освага — пропагандистского органа Вооруженных сил Юга России, и поступления из созданного на кооперативных началах издательства, одним из учредителей которого он был. Многие университетские профессора позволяли себе критические замечания в адрес администрации Вооруженных сил Юга России. Малиновский был наиболее ярким публицистом «Приазовского края». Его статьи в этой газете были не только протестом против самоуправств, чинимых армией, но могут служить также примером непонимания гражданским человеком реалий военного времени. Тем не менее, сам профессор и три его дочери принимали активное участие в помощи больным и раненым офицерам и «стрелкам», как назывались рядовые в деникинской армии.

Тогда, когда Дон и Северный Кавказ в 1919 г. были достаточно глубоким тылом деникинской армии, профессор эвакуированного из Варшавы в Ростов-на-Дону университета Малиновский мог позволить отправить семью на отдых в Ессентуки. Кавминводские курорты работали, правда, инфраструктура уже пострадала от войны, и его дочери Евгении «даже» пришлось готовить на примусе. И в предыдущие военные годы Малинов-

ские также покидали Ростов на лето и в зависимости от обстановки снимали дачу: в 1917 г. — в Кисловодске, в 1918 г. — под Ейском. На «дачу» в приазовские поселки отправлялись не только отдохнуть, но и подкормиться.

182 Революция изменила отношения отцов и детей. Семья Малиновских не стала исключением. Мария, Евгения и Ольга по примеру матери и отца интересовались общественной жизнью, симпатизировали кадетам, и в то же время самостоятельно принимали решения принципиального характера, что было совершенно невозможно для девиц из хорошей семьи еще несколько лет назад. Евгения, 1900 г.р., самая смелая и экспансивная из дочерей, не спросив разрешения у родителей, в 1918 г. отправилась в путешествие в Крым, где группа гимназистов и гимназисток осматривала достопримечательности; в некоторых местах останавливалась и нанималась на работы. За год до этого с разрешения родителей она ездила на полевые работы по сбору винограда в Абрау-Дюрсо под Новороссийском; по окончании работ с компанией молодежи прошла по черноморскому побережью до Нового Афона, зарабатывая на дорогу, периодически работая в различных имениях. Все трое инициативно устроились волонтерками в тифозные лазареты, поставив родителей перед фактом. И все трое одновременно заразились и чуть было не погибли. Спасло их участие светил ростовской медицины, с которыми был дружен Иоанникий Алексеевич. Старшая Мария, 1899 г.р., наиболее серьезно занимавшаяся политической деятельностью, была активистской студенческой фракции партии Народной Свободы, в 1919 г. сама съездила в Киев за политической литературой по поручению Музея Возрождения России. В годы гражданской войны две его старшие дочери получали высшее образование: Мария — филологическое, Евгения — медицинское. Разумом он понимал, что дочери в такое время должны быть способны действовать по собственному почину, но в одном месте своего екатеринодарского дневника взгрустнул: «Но... “отцы и дети”. Какая-то грань образовалась незаметно между мной и ими».

В условиях классового конфликта Малиновского волновал вопрос о релевантности своих убеждений, самой своей сущности

и той роли, которая ему приписана обстоятельствами. Выбрав после окончания университета ученую профессорскую карьеру, ему пришлось познать периоды и недостатка, и ограниченности в средствах. Но он всегда работал, и считал себя, несомненно, трудовым элементом. В 1920 г. (после возвращения в Ростов из Екатеринодара) в заявлении в профсоюз с просьбой о назначении пайка он написал:

«Я родился и вырос в трудовой обстановке, всегда трудился и продолжаю трудиться, не покладая рук. [...] У меня как у всякого пролетария в строгом смысле слова, никогда не было и нет теперь никаких средств к существованию, кроме личного заработка» [ГА РО. Ф. 46. Оп. 3. Д. 471. Л. 27].

Этот же настрой характерен для многих интеллигентов разночинского происхождения. Привыкнув более доверять словам, чем обстоятельствам, они, случалось, верили лозунгам большевиков. А, может быть, принуждали себя верить, не имея иного выбора. Даже такой одиозный для советской власти субъект как популярный журналист суворинского «Нового времени», один из создателей Всероссийского национального союза М.О. Меньшиков 12 сентября 1918 г. доверил дневнику такие свои размышления:

«Сегодня я записался в союз трудящихся вместе со всеми сослуживцами отдела. В сущности я родился... в сословии трудящихся и всю жизнь работал, к чему был способен, на совесть. Вот почему трудовой строй общества, если он возобладает, будет мне не чужд...» [Меньшиков, с.220].

Через восемь дней 20 сентября 1918 г. Меньшиков был расстрелян на волне красного террора. В июле 1920 г. и Малиновский оказался арестованным Чека по обвинению в службе в гражданских структурах денкинского правительства. Ростовская Чека инкриминировала Малиновскому то, что он был министром народного просвещения. В ходе следствия он отвергал эти обвинения, отмечая, что начальником управления народного просвещения был профессор Н.М. Малинин, а не он — профессор И.А. Малиновский. Это простительная в его обстоятель-

ствах ложь. На самом деле Иоанникий Алексеевич по причине отъезда профессора Малинина действительно возглавил отдел народного просвещения, о чем и было сообщено в газете «Великая Россия» за 6(19) сентября 1919 г. № 290.

Свой отъезд из Ростова Малиновский объяснял чекистам так: намеривался по делам издательствам побывать в Царицыне, но случившееся изменение конфигурации фронта вынудило его застрять в Екатеринодаре [ГА РО. Ф. 46. Оп. 3. Д. 471. Л. 26, 28]. Другой раз он указывал, что выехал в столицу Кубани для чтения лекций в политехническом институте [ГАКК, Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 349 (Личное дело И.А. Малиновского)]. Но текст воспоминаний говорит иное: он покинул Ростов вместе с другими профессорами, в т.ч. с П.И. Новгородцевым, из-за страха расправы. Вопрос о продолжении преподавательской деятельности встал перед ним уже после приезда в Екатеринодар, о чем он и сделал запись в дневнике от 18 января 1920 г.:

«Вчера подал декану экономического отделения

184 *Политехнического Института В.А. Удинцеву заявление о желании прочитать специальный курс “История русского государственного строя” и программу курса. Может быть, удастся прочитать».*

Удалось, и стало оправданием его бегства из Ростова, но Чека не поверило. За него ходатайствовали коллеги, а дочь Ольга писала в его защиту: отец живет «на свои трудовые средства, следовательно, принадлежит к трудовому населению» [ГАРО. Ф. 46. Оп. 3. Д. 471. Л. 34].

Но как всегда набор причин события куда богаче, чем принято озвучивать.

Еще при власти Донского правительства в учащейся среде Ростова стали возникать элементы самоорганизации. Кроме прочих структур появилось Трудовое общество медиков и медичек при Донском университете. Оно было создано по предложению администрации Белого креста в декабре 1918 г. Оно формировало санитарные отряды, работавшие на городском вокзале по оказанию помощи раненым и больным тифом.

После прихода красных это общество сыграло роковую роль в судьбе некоторых причастных к университету лиц. Все

началось летом 1920 г., вероятно, с противостояния студенческих организаций: старой — Научно-трудового общества студентов медиков и медичек — и новых — комячейки и комсомола студентов медицинского факультета. 5 июня 1920 г. комячейка и комсомес обвинили Общество, что оно вовсе не трудовое, а наоборот — контрреволюционное и черносотенное. Ярлыки навешивались в соответствии с распространенными и не всегда верными стереотипами: Общество было заклеено как казачье и монархическое. К доносу были приложены показания членов комячейки и документы, найденные ими при самочинном обыске, в т.ч. подписной лист для сбора пожертвований для семей погибших в борьбе с большевиками в Кубанской и Донской областях. Студенты-медики выпускного курса — авторы доноса — все годы Гражданской войны учились, в военных действиях не участвовали, а после прихода большевиков тут же вступили в партию. Эти новообращенные большевики-студенты считали, что необходим немедленный арест членов этого общества [АУФСБРРО. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 20, 22, 23].

185

Председателя Трудового общества приват-доцента эпидемиолога Алексея Николаевича Успенского, профессоров невропатолога Александра Андреевича Жандра, физиолога Зиновия Васильевича Гутникова, профессора права Малиновского и других в конце июня — начале июля 1920 г. арестовали по обвинению в устной и литературной агитации против советской власти и в том, что «их ученый труд был направлен на унижение [вероятно, они были строги на экзаменах к инициаторам доноса — О.М.] и подавление трудящихся».

В июле 1920 г. за своих преподавателей вступились студенты и руководство, и те были отпущены, но 24 июля неожиданно было вынесено решение о повторном аресте, что стало для большинства из них роковым [АУФСБРРО. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 68, 171]. На этот раз не помогло даже ходатайство ректора университета Евлахова. Тем более что комячейка выпускного курса тут же направила протест по поводу хлопот об освобождении арестованных профессоров:

«Лиц же желающих взять на поруки этих контр-революционеров подвергнуть той же участи, как соучастников и заступников» [АУФСБРРО. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 151].

186 Приговор был вынесен с непонятной поспешностью, 1 августа трое из основных фигурантов были расстреляны. Малиновский не был расстрелян вместе с ними, несмотря на то, что следователь Чека Лавриненко назвал его «самым видным деятелем КД [т.е. кадетской партии] и всей белогвардейской власти» [АУФСБРРО. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 172]. 28 октября 1920 г. его дело было выделено в отдельное и было переслано во Всероссийскую чрезвычайную комиссию [АУФСБРРО. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 170]. Затяжка дела и передача его в Москву спасли жизнь Малиновскому. Учитывая его большие научные заслуги, профессора взял на поруки Народный комиссариат продовольствия. Соответствующую бумагу подписал некто Покровский [АУФСБРРО. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 2]. Трудночитаемая связь между профессором права и Наркомпродом. Видимо, сыграли роль какие-то личные отношения, поскольку одна из дочерей профессора выезжала в Москву, найдя очевидно верный адрес для ходатайств.

Иоанникий Александрович был осужден к лагерям, но освобожден через несколько лет раньше срока окончания наказания. Он успел быть избранным в Украинскую академию наук и умер дома в Киеве в кругу семьи.

Малиновский и Аладжалов: in comparision

Малиновский оказался вечным пасынком власти. При царе он добился стабильного материального достатка, но высокие чистые помыслы заставляли его ненавидеть самодержавное саптрапство. Большевиков он не принял за их антигуманную практику репрессий. Не слишком ладил он и с белыми. Когда близился новый учебный год, он требовал у военных освобождения школьных зданий, занятых ими под лазареты. Те под давлением своего прямого начальства обещали, но дело затянули и поки-

нули здания гимназий лишь тогда, когда пришлось оставлять всю донскую область.

Есть еще одна причина, почему профессор Малиновский не стал большевиком. Малиновский на своем опыте знал, что для того, чтобы добиться большего, совсем не надо делать с оружием в руках революцию. Он был разночинцем, трудом и талантом пробил себе дорогу в жизни. Никакой исторической вины перед народом он не чувствовал. Не имел желаний опускаться до его уровня, когда только недавно оторвался от родной мещанской провинциальной среды. Представители народа, присутствующие на страницах его воспоминаний, это прислуга и различные городские обыватели; им дается беглая, но трезвая оценка — в соответствии с качествами каждого. Гораздо больше тепла — в отношении коллег, интеллигентской публики вообще, таких же self-made man, как и он сам.

Чтобы оттенить эту сторону личности Малиновского, возьму в качестве его антипода Александра Иоакимовича Аладжалова, также как и Иоанникий Алексеевич, кадета и юриста. Аладжалов происходил из армянского купеческого рода; семья имела солидный капитал и на проценты от него жила все время до революции. В годы германской войны Аладжалов — фронтовой офицер, именно в окопах началось его полевание. В 1917 г. он разочаровался во всех партиях, кроме большевиков, и примкнул к ним. Одной из причин этого шага стало убеждение, что несмотря ни на что именно большевики то, что нужно народу. 17 марта 1918 г. он записал в общесемейной книге-дневнике:

«Я демократ и большевик, потому что не могу по складу своей психики быть аристократом, и потому я большевик, что считаю, что ум не дается образованием, что простой народ не хочет наставников, и от тех, кто с ним, требует уважения к себе; требует, чтобы тот, кто с ним, шел бы по одной дороге, им избираемой, а не толкал его согласно надуманным теориям»².

² Документ предоставлен внучатым племянником А.И. Аладжалова Юрием Ростиславовичем Канским (СПб.).

Аладжалов участвовал в вооруженных выступлениях большевиков по захвату власти в Одессе; когда образовалась Бессарабская республика, вошел в правительство заместителем наркома юстиции. После окончания гражданской войны работал зав. отделом Петроградского исполкома, председателем трибунала, инспектором РКИ РСФСР. Никто из семьи репрессиям не подвергался. Более того, Александр Иоакимович (он прожил 90 лет) регулярно писал в различные партийные и советские инстанции критические письма.

В вышеприведенной цитате Аладжалов предстает человеком «с идеалами», главным из которых является убеждение: что б народ не делал, он — свят, он — прав, он — безвиновен. Горожанин и романтик, формирование его мировоззрение прошло в столичной купеческой среде, в которой получили популярность всякие «вольномудствования» не без влияния, очевидно, других элитарных слоев.

В том же тексте есть другая примечательная фраза:

188 *«...В нашей Одессе наше большевистское правительство, обессиленное недоверием, темнотой, недисциплинированностью масс, под давлением непреодолимых хозяйственных затруднений и внешнего давления... — пало».*

В основе его мировоззрения аксиомы: народ всегда прав; большевики — партия наиболее полно представляющая интересы народа; если народ отворачивается от большевиков, то из-за тяжелого наследия векового рабства; ошибки партии — это ошибки ее отдельных членов, заблуждающихся и страдающих от того же груза прошлого. В целом, хорошо знакомый комплекс представлений, с помощью которого объяснялись многие страницы советской истории. Любопытно другое: время изложения этих взглядов — март 1918 г. Они еще не стали фразами догматического содержания. Это — личное убеждение Аладжалова, результат его наблюдений и интерпретации этих наблюдений при участии его системы ценностей.

Вывод, который хотелось обосновать сравнением этих двух людей, таков: интеллигенты из разночинцев — интеллигенты первого поколения — чаще имели прививку от безоглядного

народофильства; интеллигенты «с родословной» — второго и третьего поколения — начинали страдать от своей оторванности от народной жизни, искупать ренегатство своих отцов. Между тем, пропорциональность причин и следствий вряд ли существует, хотя так велик соблазн объяснять эмпирические, в том числе уникальные и ситуационно-детерминированные явления и процессы.

Гражданская война разделила население страны на типы выживания: человек с ружьем, человек с мешком [Давыдов, 2008], человек с ремесленным инструментом или с сохой, а был и человек с книгой и пером. Материал воспоминаний и дневника И.А. Малиновского доказывает, что культура — не тепличный цветок; для жизни ей не обязательны покой и безопасность. В годы гражданского конфликта только небольшая часть убивала друг друга; для очень многих других искусство, наука и образование стало нишей, в которой они желали бы пережить это время. Выдавленные с севера войной и голодом они сбивались в школы, университеты, театральные труппы, литературные кружки на более сытом Юге и так сохраняли себя и свою душу. Участие в политике они хотели бы ограничить работой на съездах своих партий и помощью раненым, но другие — с ружьем — постоянно их выдергивали из этих убежищ.

189

Литература

Архив Управления ФСБ России по Ростовской области [АУФСБРРО]. Следственное дело врачей Донского университета. Т. 2. Л. 20, 22, 23.

Государственный архив Краснодарского края [ГАКК]. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 349 (Личное дело И.А. Малиновского).

Государственный архив Ростовской области [ГАРО]. Ф. 46. Оп. 3. Д. 471. Л. 26–28, 34.

Давыдов А.Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917–1921. СПб.: Изд-во: Академия Смартбук, 2008.

Жилякова Н.В. Цензурная история газеты «Сибирская жизнь» (1894–1919, г. Томск) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2009. №3(7).

Лозовский И.Т. Поляки в Сибири // Славяне и Сибирь. Сохранение культурного наследия. Материалы научно-практического семинара. Томск, 19 декабря 2000 г. Заозерный архитектурно-художественный музей, 2002. Томский государственный университет, 2002.

Малиновский И.А. Воспоминания. Екатеринодарский дневник, декабрь 1919 — март 1920 гг.: Рукопись. Подлинник хранится у потомков внучки И.А. Малиновского Марианны Цезаревны Шабат (1922–2009).

Меньшиков М.О. Дневник 1918 г. // Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.) Вып. IV. М.О. Меньшиков. Материалы к биографии.

Елена Толкачева

Письмо как особый вид коммуникативного процесса (на примере эпистолярного наследия М. Цветаевой)

Под эпистолярным жанром в современной науке понимается текст, имеющий форму письма, открытки, телеграммы, посылаемых для сообщения каких-либо сведений. Письмо имеет весьма давнюю историю, поскольку потребность сообщения между коммуникантами, лишенными непосредственного контакта, обнаружилась даже задолго до изобретения письменности (и во многом обусловила её зарождение). С появлением же системы графических знаков для записи живой речи переписка на многие века стала основным и практически единственным способом общения для людей, разделенных большим пространством.

Формирование эпистолярного искусства началось еще в античности. Затем, почти исчезнув в средние века, письмо постепенно набрало силу лишь к XVII веку, времени зарождения первых европейских литературных салонов. В России эпистолярный жанр как считают Томашевский, Тодд и некоторые другие исследователи, начал оформляться в XVIII веке. Главную роль в его становлении сыграл М.В. Ломоносов, именно его письма «явились первыми дружескими письмами, на которые ссылались другие писатели» [Тодд, 1994, с. 27]. Данный тип письма достиг своего расцвета уже в начале следующего века

под пером В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского и многих других. Дружеское письмо в первой половине XIX века стало своеобразным культурным и литературным фактом. В нем содержались мысли о литературных произведениях, о литературе вообще, об искусстве, культуре, общественных событиях и т.п. В более интимных посланиях отражалась суть личностных отношений между адресатами, открывался их душевный мир.

Письма важно классифицировать также с учетом целей их написания, пола, возраста коммуникантов, характера отношений между ними и некоторых других факторов. Традиционно по сфере общения выделяют письма деловые (служебные) и частные (Акишина, Формановская и др.)

192 Сегодня в эпистолярном стиле выделяют письма, с одной стороны, как особый жанр публицистической и художественной прозы («Письма из Франции» Д.И. Фонвизина, «Письма к другу» Ф.Н. Глинки, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского, «Зоо, или Письма не о любви» В.Б. Шкловского) и, с другой стороны, как средство делового, профессионального и личностного общения; издается переписка государственных и общественных деятелей, известных ученых, писателей, работников культуры, искусства, получившая резонанс в различных сферах духовной жизни (письма А.В. Суворова, Г.А. Потемкина, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Б.Л. Пастернака, Д.С. Лихачева и многих других).

Нужно отметить, что эпистолярный жанр отличают ряд структурно-стилистических признаков: сочетание в текстах монологической и диалогической речи; использование определенных языковых средств, соответствующих сфере переписки: книжно-письменных в деловых и устно-разговорных в частных письмах; своя композиция текста: более жесткая в официальных и более свободная в частных письмах; точное обозначение отправителя и получателя, обращение к последнему и подпись отправителя; соблюдение речевого этикета с учетом фактора адресата, характера сообщений и национальных «эпистолярных» традиций.

Наличие адресата и ожидание ответа либо действия, поступка обуславливает появление признаков, присущих диалогу,

в виде обращения, вопроса, напоминания, описания жеста (обнимаю, жму руку и т.д.). Таким образом, в текстах эпистолярного жанра сочетаются элементы монолога и диалога. Однако наряду с этим совершенно ясно, что через письма осуществляется дистантное монологическое общение. И каким бы ни было письмо, оно отличается от других своей языковой формулой — устойчивым оборотом, фразой, стереотипно выражающей назначение послания.

В этой статье речь пойдет о частных письмах поэтессы Марины Цветаевой раннего периода, каждый вид которых — дружеское, любовное, деловое, — имеет свою языковую формулу, тематику и содержание. Все они представляют один из возможных примеров процесса коммуникации в эпистолярном жанре.

В посланиях М.И. Цветаевой 1908—1915 годов можно выделить ряд признаков: откровенность, открытость, желание выговориться, быть услышанной и понятой, желание уйти от одиночества и тоски, излить собеседнику душу. Оттого они носят дневниковый характер. И это позволяет сделать вывод, что зачастую М. Цветаева писала больше для себя, нежели для адресата. Хорошо известно, что в основном свои письма она сначала записывала в тетрадь, оставляя черновик, а затем уже переписывала набело и отправляла. Дневниковость — одна из главных особенностей ее эпистолярного наследия. Еще в предисловии к третьему сборнику «Из двух книг» (1913) М. Цветаева четко обозначила свою позицию, от которой после никогда не отступала ни в жизни, ни в творчестве: «Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох... Нет ничего не важного!..» [Цветаева, 2004, с. 174].

Но несколькими годами ранее, в письме от 22 июля 1908 года к Петру Юркевичу, она в порыве эмоционального потока наметит эту мысль и тем самым даст ключ к пониманию, к более глубокому проникновению в ткань ее текстов, и не только писем, но и всего, что она уже создала и создаст в будущем. «Пишите обо всем, что придет в голову. Право, только такие письма и можно ценить. Впрочем, если неохота писать откровенно — лучше не пишите» [Цветаева, 1995, т.6, с. 19]. И хотя откровенность ее не раз подводила, она являлась чертой характера поэта.

Письма М. Цветаевой, несмотря на определенные, присутствующие только ей языковые и стилистические особенности, по манере написания достаточно различны: все зависит от личности адресата и тех обстоятельств, которыми вызвано то или иное послание. Конечно, сказываются также настроение автора и его отношение к адресату. По манере изложения письма отрывисты, и весь рисунок текста напоминает мозаичную картинку.

194 Среди ранних писем М. Цветаевой следует отметить отправленные Петру Юркевичу, другу ее 15 лет. Этот молодой человек, которому тогда было 18, учился на врача. С Цветаевой он познакомился летом 1908 года в имении его родителей Орловке, куда она ненадолго приезжала отдыхать... Письма к нему девушки-подростка искрят легким юмором, доброй иронией, рассказом обо всем и ни о чем. В их основе лежат приятные воспоминания Цветаевой о времени, проведенном у Юркевичей, а также желание продлить дружбу с молодым человеком, развеять охватившие ее тоску и грусть после возвращения домой. «Вы вот вчера удивились, что у меня бывает тоска... да, бывает, всегда есть. От нее я бегу к людям, к книгам, даже к выпивке, из-за нее завожу новые знакомства» [Там же, с. 18]. Письма к нему пространны, полны мелких подробностей ее домашней жизни, частых упоминаний алгебры и химии, к экзаменам по которым готовилась юная Марина и которые так скучны и неинтересны ей. Высказывая свое мнение о химии в шуточной форме, Цветаева даже не задумывается, что подобное заявление может оказаться не совсем тактичным, так как для Петра, будущего врача, это один из главных предметов (и действительно, он примет ее слова всерьез и обидится на них — в ее письме можно прочесть: «Насчет химии и алгебры я ведь шутила, неужели Вы приняли за серьезное?» [Там же, с. 24]). Затем она берется иронизировать над ним, называя Петра домашним прозвищем Понтик: «И Понтик скоро будет с ярлыком врача или учителя, будет довольным и счастливым “мужем и отцом”, заведет себе всяких Ев и тому подобных прелестей» [Там же, с. 19]. И тут же воображает какую-то смешную сценку из его будущей семейной жизни. А в целом подтекст этого письма прост: пятнадцатилетней Цветаевой хотелось ему нравится, она ждала с его стороны особого

внимания к себе, и не почувствовав желаемого, задала своему письму ироничный, местами насмешливый тон, в котором сквозит обида. То, чего она не сказала бы при личной встрече, не смогла бы так выразить устно, с полунамеками и полуупреками, произнести вслух, легло на бумагу. Письмо скроет ее вспыхнувший взгляд, чуть пунцовые щеки и обнажит душу и сердце. «...я совсем не могу разговаривать, когда на меня смотрят» [Цветаева, 1995, т. 7, с. 721], — напишет ему Цветаева, и тогда письма становятся для нее единственной возможностью высказаться открыто, ничего не боясь и не стесняясь.

Ее откровения души часто выливались в исповедь, в длинные рассказы о прошедшем дне, о встречах-отношениях с А. Виноградовым, Эллисом или О. Мандельштамом. Она писала то, что ей было интересно, важно для нее, надеясь на взаимопонимание и отклик.

Переписка с Юркевичем началась по инициативе Цветаевой. Именно ей хотелось длить знакомство, писать письма, которые она будет наполнять цитатами из Ф. Достоевского, М. Горького, строчками своих и чужих стихотворений, романтическими описаниями вечерних пейзажей и «красивыми словами» (как назовет цветаевские афоризмы Юркевич). И закончился их эпистолярный роман тоже, когда ей показалось, что больше поддерживать отношения с «будущим врачом» не имеет смысла.

Его ответные письма неизвестны, но по цветаевским текстам можно судить об отношении молодого человека к ее посланиям, примерно представлять, о чем он писал, что ее радовало и задевало в его ответах. Вот лишь несколько примеров: «Спасибо Вам за неприятную правду последнего письма. Таких резких “правд” я еще никогда ни от кого не слыхала, но, мирясь с резкостью формы, я почти совсем согласна с содержанием» [Цветаева, 1995, т.6, с. 23]; «Больше всего меня удивило в Вашей закрытке то выражение, что «и у меня» бывает хандра. Повторяю Вам, что тоска — мое обычное состояние, из которого я на время вышла, благодаря Вам. Унизительно жить, не зная зачем. А вот что Вы, избалованный, хорошенький дамский кавалер... отрицаете саниновщину — это меня ужасно удивило и обрадовало» [Цветаева,

ва, 1995, т. 7, с. 721]; «Спасибо за славное, искреннее письмо. Не думайте, что я не оценила Вашего доверия» [Там же, с. 724].

196 Вообщем же письма Цветаевой к Юркевичу затрагивают многие темы, волнующие ее. Она задается вопросами, зачем живет человек и чем он живет, как люди относятся друг к другу, что несет революция (к слову сказать, юная Цветаева была настроена очень революционно), что дают человеку книги и т.д. Много места отводит она и размышлениям о себе, своих поступках, чувствах, идеалах... Она высказывает свое мнение и не спрашивает, что думает по этому или иному поводу собеседник. Ее письма — это длинный разнообразный монолог, который может стать диалогом, если адресат заинтересуется теми же вопросами и поддержит «беседу». Судя по письмам Цветаевой, Юркевич очень откликнулся на ее рассуждения, думается, что и не всегда разделял ее взгляды. Как-то она цитирует такую фразу из его письма: «Вот Вам мой взгляд. Понимайте как хотите. Мне совершенно все равно, так как это меня сейчас совершенно не интересует» [Там же, с. 726]. Естественно, подобное очень обидело ее, но писать Цветаева не прекратила, что лишь подтверждает: не к диалогу стремилась она, а к монологу.

В одном из последних цветаевских писем 1908 года к Юркевичу ощутимы растрепанность чувств, смятение, удивительная неровность внутреннего душевного состояния, а, по сути, невозможность и в то же время старание понять себя, разобраться в своих мыслях: «Вас ли я любила или свое желание полюбить?», «...к Вам я чувствую нежность, желание... глядеть в Ваше славное лицо. Это любовь?.. Не знаю», «...чувствую только, что умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет», «...надеюсь, Вы не обвините меня в бегстве перед Вами», «...м.б., так любить, как я люблю Наполеона II, нельзя живых» и наконец, уже в постскрипуме, «Я люблю Вас больше всех живых на свете, оговорку, о которой я раньше забыла» [Там же, с. 727–729].

После 1908 года их встречи стали эпизодическими, и переписка, по всей видимости, прекратилась. Лишь в 1910 году Цветаева вдруг вспомнит Юркевича и, проводя лето в Германии, пошлет ему приветствие, в котором обратиться с просьбой про-

честь книги Г. Манна «Богини» и «Голос крови», а также стихи д'Аннунцио. Она считает, что названные произведения подарят Юркевичу несколько «ярких, незабываемых часов» [Там же, с. 731]. Это своеобразный подарок ему от Цветаевой, у которой «так бесконечно много всего» и никто от нее «не должен уйти с пустыми руками» [Там же, с. 732]. В завершении письма она ставит короткую фразу: «Вот и все!», тогда как раньше она просила писать ей, писать «хорошенько обо всем» [Там же, с. 723].

Самое последнее письмо Цветаева отправит Юркевичу в 1916 году, откликаясь на его попытку возобновить их отношения. Тогда она ответила, что ей не нужна его любовь.

Итак, эти письма сохранили для нас историю одного увлечения юной Цветаевой и во многом раскрыли черты ее характера, ее внутреннего мира — что-то со временем изменится, а что-то останется до конца жизни. Эти письма — след ее эксперимента над собственным сердцем: «Я хотела попробовать, способна ли я любить или нет» [Там же, с. 727].

Дружба с Юркевичем покажется давним прошлым после знакомства Марины Цветаевой с Максимилианом Волошиным в конце 1910 года, когда он опубликовал рецензию на ее первый сборник стихов. Юная поэтесса послала ему благодарственное письмо с приглашением приходить к ней в гости. С этого момента начинается их переписка, и первые полгода Цветаева обращается к нему на Вы и по имени-отчеству. А в своих письмах в основном рассказывает о прочитанных ею книгах. И первый в этом ряду — Г. Манн. Но если в письме к Юркевичу Цветаева лишь упомянет его произведения и посоветует ему их прочесть, то, обращаясь к Волошину, она даст подробную характеристику романов немецкого писателя (письмо от 5-го января 1911 г.). По этому письму можно судить, насколько сильно захвачена Цветаева этим автором и как страстно желает она открыть его другим. «Книги мне дали больше, чем люди...», — напишет она в другой раз [Цветаева, 1995, т. 6, с. 47]. И тем не менее попросит его: «Только не будьте мудрецом, отвечая, — если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа» [Там же, с. 47]. И Волошин как никто другой поймет ее, почувствует в ней родственную душу, пригласит на лето в

Коктебель, где создаст совершенно удивительную атмосферу, соберет многих своих друзей и познакомит М. Цветаеву с С. Эфроном. Волошин вдруг станет ей очень близким и дорогим человеком, и отныне ее письма к нему будут не отстраненными (хотя и чудесными) описаниями книг и собственных переживаний, стремлений разобраться в себе (о чем она писала и Юркевичу, только несколько иначе), а искрящимися радостью и теплом посланиями, которые она сделает продолжением «коктебельского лета». Встреча с Волошиным изменит жизнь М. Цветаевой, подарит ей любимого и любящего человека, и отойдет на время то чувство внутреннего одиночества, которое она ощущала всю жизнь и от которого всю жизнь пыталась убежать.

198 Это образец писем близкому другу, построенных на абсолютном доверии, искренности, желании поддерживать сложившиеся добрые отношения. В этих письмах присутствуют юмор, элементы детской игры, соблазн проказничества. И это вполне естественно, так как атмосфера коктебельского дома да и сам Волошин необычайно располагали к этому.

Но, пожалуй, наиболее ярко представить, что на самом деле происходило в гостях у Волошина, позволяют письма 1913 года к юристу Михаилу Фельдштейну. Он тоже был там среди отдыхающих, а когда уехал, Цветаева, думая, что он вскоре должен вернуться, стала писать ему подробные письма с детальным представлением всех событий каждого дня. Таким образом, Фельдштейн должен был ощущать себя все еще жителем гостеприимного волошинского дома и, вернувшись, не почувствовать, что уезжал. Эти письма — яркий пример монологической речи, они не рассчитаны на какой-либо ответ, их цель иная — поддерживать для человека ту атмосферу, в которой он провел длительное время. В этих посланиях, впрочем, как и в волошинских, появляются элементы метаязыка, по точному выражению Ахмадеевой [Ахмадеева, 2001, с. 317]. То есть языка, понятного только адресату и адресанту. Например: «привет обоим белым волкам», «приехала мифическая “мамаша”», «вчера Ванда Александровна привезла огромную корзину черешен, — я вспомнила о Вас» (во всех случаях речь идет о том, что понятно им обоим, но не ясно читателю, и только в последнем случае можно предположить,

что Фельдштейн очень любил черешню (на это есть намек в следующем письме), но мог и не любить или вообще с этими ягодами для него что-то могло быть связано, о чем знает Цветаева и не догадывается читатель). Интересно и другое: узнав, что Фельдштейн не приедет, Цветаева не прекращает посылать ему «свои отчеты», которые становятся, правда, менее детальны, но в которых теперь проскальзывает «А все-таки интересно, напишите Вы мне, или нет?» [Цветаева, 1995, т. 6, с. 110]. Получив от него ответные письма, Цветаева в конце своего очередного послания отметит: «Спасибо за письмо. Прочтите эту фразу ласковой, чем она звучит» [Там же]. Такой словесный реверанс в сторону адресата призван показать ему, насколько она рада и дорожит его дружбой и вниманием. Отношения с ним у Цветаевой сложились вполне доверительные, она даже чувствует его родным человеком («Вы для меня теперь освящены страданием, Вы мне родной» [Там же]), в одном из писем просит быть ее исповедником. Это сразу объясняет ее очень личные рассказы и мысли, которые она предает бумаге и отправляет корреспонденту. Перед Новым годом Фельдштейн получит последнее за 1913 год (и вообще известное на сегодня) письмо от Цветаевой. В нем она предстанет в романтическом ореоле. К этому располагает атмосфера приближающегося праздника, самой Феодосии, откуда пишет юная Марина, ожидание нового «ослепительно-синего», «волшебного» платья, шьющегося по ее заказу. Дружба, по Цветаевой, как известно, есть действие, и однажды она обратится к Фельдштейну и его супруге за помощью — рекомендательным письмом для ее мужа Сергея Эфрона. Ее послание примет деловой характер, стиль изменится, изложение станет сухим и кратким. В постскриптуме Цветаева перейдет опять на стиль дружеского письма: «Мои интимные письма — слишком интимны, официальные — слишком официальные».

Извините меня за скуку этого и не сомневайтесь в моей искренней симпатии» [Там же, с. 117].

Включение фразы о двух типах писем для Цветаевой не случайно — таким образом, она оправдывается за нехарактерный для нее вид посланий Фельдштейну.

И последние письма, о которых хотелось бы упомянуть, это три письма к Василию Васильевичу Розанову 1914 года. Цветаева была очарована его книгой «Уединенное», нашла в ней много из того, что было созвучно ее собственным мыслям, и решила написать ему. Но надо отметить также, что не только о своих впечатлениях от этой книги пишет юная Цветаева. Ее послания носят глубоко автобиографический характер — она знакомила философа, чей некролог на смерть Ивана Владимировича ей был хорошо известен, со своей семьей, подробно описывая всех ее членов, и открывает почти не знакомому ей человеку самые сокровенные их чувства и переживания. Больше это касается ушедших отца и матери. Для чего так пишет Цветаева? Зачем Розанову знать в таких подробностях о жизни семьи Цветаевых? Ответ на эти вопросы дает она сама в последнем, третьем, письме к нему. Ей, потерявшей так рано родителей, а значит, оставшейся внутренне без опоры и поддержки, очень нужен был рядом мудрый, добрый, имеющий определенный вес в глазах других людей человек. Какой поддержки ждет Цветаева, чего она боится? Ее Сережа, за которого она два года назад вышла замуж, должен сдавать экстерном экзамены в феодосийской мужской гимназии на аттестат зрелости, а к экстернам там «относятся с адской строгостью» [Там же, с. 127]. В случае провала его осенью заберут в солдаты. Этого очень боится молодая жена, так как у Сергея плохое здоровье, он несколько раз находился на излечении в санаториях. Теперь он «занимается по 17-ти часов в день, истощен и худ» [Там же, с. 127]. Конечно, он должен сдать, но бывает всякое и не хотелось бы осечки. Потому Цветаева отмечает: «Судьба Сережиных экзаменов — его жизни — моей жизни — почти в Ваших руках», «Обращаюсь к Вам, как к папе» [Там же, с. 127–128]: при жизни Иван Владимирович обещал похлопотать, отослать директору письмо, но не успел. Сама Марина уже познакомилась с директором, который буквально обожествлял Розанова.

Первые два письма не нужно рассматривать, как тщательно продуманный план будущей большой просьбы, которая займет все третье письмо. У Цветаевой не было корыстных мыслей, когда она решила написать Розанову. Это подтверждает ее по-

следующая дневниковая проза, сходство которой с прозой философа легко заметить. Но то, что Цветаева так откровенно ввела его в мир своей семьи и отношений в ней, безусловно, подготовило почву для самой просьбы. Последнее письмо по своей функции можно отнести к деловому, но по стилю оно, конечно, дружеское. Эти три послания Марины Цветаевой представляют собой отдельный вид коммуникации, в оформлении которой очень велика роль личности адресата. При этом два основных качества адресанта — искренность и исповедальность, здесь также очевидны.

В заключении стоит отметить, что по стилю ранние письма Цветаевой довольно многословны, пестрят повторами слов и отдельных мыслей (говорится раза три-четыре одно и то же, но по-разному), зачастую используются сложные предложения с несколькими подчинительными союзами, что, впрочем, характерно для монологической речи. И несмотря на то, что процесс коммуникации очень важен для Цветаевой — эпистолярное общение уводит ее от грустных, а порой трагических мыслей, ей не менее важен и сам процесс создания текста, пока еще не имеет большого значения о чем конкретно (да обо всем), и формирования индивидуального присущего только ей стиля, насыщенного афоризмами и философскими размышлениями. Это проба голоса, который в полной мере разовьется в очерках и биографической прозе.

201

Литература

Акишина А.А., *Формановская Н.И.* Этикет русского письма. М.: Русский язык, 1981.

Ахмадеева С.А. Потустороннее общение (Аппликативная метафора в письмах Марины Цветаевой) // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция: сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2001.

Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху / пер. с англ. И.Ю. Куберского. СПб.: Академический проект, 1994.

Томашевский Б.В. Пушкин: работы разных лет. М.: Книга, 1990.

Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М.: Высшая школа, 1989.

Цветаева М.И. Книги стихов / сост., коммент., статья Т.А. Горьковой. М.: Эллис Лак 2000, 2004.

Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7-ми тт. Т. 6, 7 / сост., подготовка текстов, примеч. А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1995.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Филипп Лежен

От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария¹

Всегда неловко говорить о себе. Трактаты о правилах хорошего тона — как французские, так и, полагаю, американские — делать этого не рекомендуют. Так, баронесса Стафф в 1893 году писала следующее: «Говорить о себе, пусть даже в уничижительной форме, не позволяет чувство благородства. Выставлять в разговоре свое Я следует как можно реже; это почти всегда неудобный и скучный предмет для окружающих». Так что не волнуйтесь: я буду говорить только о своей карьере исследователя. Причем не столько объяснять ее, сколько просто описывать. Несколько месяцев тому назад, во Франции, мне пришлось представлять свой личный казус перед «лабораторией клинической социологии», как будто бы я был подопытным животным, — с той разницей, что меня вдобавок просили препарировать самого себя. Я должен был объяснить, как связаны между собой моя «история жизни» и мои «научные интересы» — вопрос, который каждый из нас рано или поздно задает самому себе. Так что представьте, что я говорю о вас. В самом деле, что заставило нас

205

¹ Лекция, впервые представленная на английском языке 22 апреля 2005 года на 58-й ежегодной конференции по иностранным языкам в Университете штата Кентукки (Лексингтон, США). Публикуемый ниже перевод сделан с французского оригинала, любезно предоставленного автором вместе с послесловием для русского читателя. Разносторонняя научная и общественная деятельность автора представлены на сайтах <http://www.autopacte.org/> и <http://association.sitapa.org/accueil.php>.

выбрать тему, над которой мы работаем? Откуда взялись интеллектуальные инструменты, которыми мы пользуемся? Корректны ли они? Меняются ли они с течением времени?

206 Выступая перед сотрудниками упомянутой лаборатории, я попытался ответить на эти вопросы, сравнив свою университетскую карьеру с карьерой моего отца, специалиста по древнегреческой филологии (как сказал бы Бурдьё, в смысле «воспроизводства» я — наследник), и проследив свое плавание по бурным волнам университетской корпорации, когда, борясь с ветрами и лавируя между течениями, я старался обеспечить себе возможность заниматься тем, чем хотел (то есть быть частью «поля», перефразируя того же Бурдьё). То, что меня тогда поразило, — это временная дистанция между нежным возрастом, в котором сформировался мой интерес к записям личного характера (мне было пятнадцать, когда в 1953 году я начал вести дневник), и зрелым возрастом, в котором я решил сделать из этого объект своего исследования (это был 1968 год, и мне было уже тридцать). Как получилось, что я столько времени блуждал в других направлениях, не находя свой северный полюс? Разве стрелка моего компаса не была достаточно намагничена? Я вижу две причины такого запоздания: одна — личная, другая — коллективная.

Личная заключалась в постепенном изменении моего отношения к собственным записям, в том, чего я ожидал от них в те годы. Дневник был верным спутником треволнений моей юности; он научил меня разбираться в своих чувствах и лучше писать: в этом он, вне всяких сомнений, мне помог. Но, возможно, он мне и навредил — из-за него я замкнулся в себе, мне не хватало диалога, который способствовал бы моему созреванию. Но главное — он стал фактором моего провала: провала моих литературных амбиций. Как и многие подростки, а также целый ряд тех, кто в силу отсутствия способностей становятся преподавателями (как сказал Бернард Шоу, кто умеет, делает, кто не умеет, тот учит других), я любил литературу, но литература не любила меня. В детстве я мечтал стать поэтом. В юности со мной случилось помрачение: читая в семнадцать лет Пруста, я понял, что погиб: мои сочинения уже написаны другим. С трагической

очевидностью я также понял, что стал жертвой того, что члены группы УЛИПО («Цех потенциальной литературы» — Кено, Перек и их друзья) остроумно именовали «упреждающим плагиатом». Боль лишь усилилась, когда я обнаружил, что и другие читатели Пруста — самозванцы и плагиаторы! — полагают, что написанное Прустом было на самом деле их собственным шедевром. Пруст сделал меня сиротой — как и тысячи других своих читателей. И тогда мой дневник — с его повторами, фразёрством, занудством и самодовольством — стал казаться мне антиподом литературного творчества. Однако я его сохранил, рассудив, что в дальнейшем, если я все же когда-нибудь стану писателем, он пригодится мне как сырьё. Пока же я был ни на что не годен. Я был неспособен написать ни единой строчки художественной прозы: я сам не верил в то, что писал. Я был обречен пополнить ряды литературной обслуги, стать преподавателем. Лишь в 1968 году я вновь ощутил жгучую потребность писать. И тогда я устроил сам для себя что-то вроде мастерской личного письма, где мне открылось, что на службу автобиографическому самовыражению могут быть поставлены все безграничные возможности языка. Что автобиография может быть также искусством. И что, возможно, это — совершенно новое — искусство еще лишь предстоит изобрести. Озарением для меня стало чтение Мишеля Лейриса. Да, автобиография была новым рубежом. Отныне объект личного желания стал для меня также объектом научного исследования.

207

У этой задержки имелись и коллективные причины. Пока мое личное желание еще не оформилось, я выбирал ложные, хотя и престижные маршруты: изучение какого-нибудь маститого автора (Пруста, конечно) или классической проблемы («Стал ли XX век концом литературы или ее расцветом?»). Мне и в голову не приходило, что «научное исследование» может идти непроторенным путем. В то время нужно было быть канонически корректным. Лишь около 1968 года я обнаружил, что во Франции существует огромная, необычайно богатая, неисследованная территория: автобиография. Неисследованная — потому что ее недооценивали. Все критики были убеждены в правоте Альбера Тибоде, постановившего в 1935 году, что «автобиография — это

роман тех, из кого не получился романист, искусство тех, из кого не вышел художник». Даже сегодня авторитетное литературное приложение к газете «Монд» под названием «Мир книг» все еще продолжает расстреливать автобиографию в упор: она-де нарциссична, пресна, скучна. Если же автобиография представляет интерес, то это уже не автобиография, ибо сама по себе автобиография никому не интересна. В то время изучались некоторые редкие автобиографические шедевры (Руссо, Шатобриан, Стендаль), но никогда – жанр как целое. Единственное заслуживающее внимания исключение на фоне этой критической пустыни – замечательная, страниц на двадцать, статья Жоржа Гюсдорфа. Это открытие я сделал, работая над статьей о жанре автобиографии во всем мире для одной энциклопедии. В зарубежном – англо-американском или немецком – литературоведении существовало множество критических исследований на эту тему. Во Франции же – решительно ничего. И вот я решил пойти наугад, не ставя целью отлить свои исследования в форму диссертации, и продвигаться вперед, свободно публикуя все, что пожелаю.

Но тогда встал вопрос: а что вообще такое автобиография? Надо было собрать корпус таких документов и к тому же сделать это исходя из некоего определения. Я взял за основу словарное определение, уточнив его и сделав центральным элементом модель, предложенную Руссо. Для меня стал откровением тот факт, что автобиография определяется не только присущими ей формой (рассказ) и содержанием (жизнь) – в конце концов, эту форму и это содержание может имитировать художественная литература, – но прежде всего неким актом, который радикально отличает ее от этой последней, а именно: реальный человек берет на себя обязательство правдиво и достоверно рассказать о себе. Это то, что я назвал «автобиографическим пактом». Разумеется, между этим пактом и контрактом беллетриста существуют некоторые промежуточные позиции, но они могут быть определены лишь по отношению к данным двум полюсам. Таким образом, важнейший признак изучаемого жанра я отношу к области прагматики, к области речевых актов. Автобиография – это не текст, в котором некто говорит правду о себе, а текст, в

котором некто реальный говорит, что он ее говорит. И это обязательство оказывает совершенно особое влияние на восприятие. Текст автобиографии и текст художественного произведения будут читаться абсолютно по-разному. Автобиографический пакт производит возбуждающее действие (он возбуждает любопытство, доверчивость, прямую вовлеченность), но также и действие устрашающее, чем отчасти объясняются предрассудки, которыми окружен этот жанр во Франции. Автобиографический пакт привязчив: автор ждет от вас любви, дружбы — либо уважения и восхищения, которые вы, быть может, не готовы ему дать. Автобиографический пакт заразен: даже если оставить в стороне провокации Руссо, предлагавшего читателю обнажиться, как он, прежде чем тот осмелится судить его, — этот пакт предполагает определенную форму весьма неудобной взаимности: ибо нам не всегда хочется думать о самих себе. Предложенная мною формулировка — «автобиографический пакт» — стала популярной, возможно, потому, что она напоминает своего рода «договор с дьяволом», скрепленный кровью... Иногда у меня даже складывается впечатление, что я не ученый, а брендмейкер, которому пришла в голову удачная идея, — наподобие изобретателя «Веселой буренки»².

209

В своей первой книге — «Автобиография во Франции» — я использую дефиницию достаточно нормативно. Это было юношеской наивностью, но также, вероятно, потребностью для книги, в которой впервые делалась попытка очертить французский автобиографический пейзаж: нужно было нарисовать центр, периферию, границы. Начиная со второй книги — «Автобиографический пакт» — дефиниция перестает быть рабочим инструментом, превращаясь в самостоятельный объект изучения. Я применяю к ней аналитический метод, вдохновленный работами Жерара Женетта, Якобсона, а позднее — других русских формалистов. Я выделяю отдельно все параметры, которые входят в состав дефиниции (пакт, высказывание, языковая форма, темпоральность, тематическое содержание и так далее). Для каждого из них я выявляю весь спектр возможных решений. Затем

² *La Vache qui rit*, популярный сорт плавленого сыра — примеч. пер.

210 свожу их в двухчастную таблицу, принимая во внимание субординацию признаков. Я поступаю как мастеровой, который должен испробовать все смеси — и уже существующие, и потенциально возможные. Как-то раз, рассматривая одну из таких таблиц, Серж Дубровский заметил незаполненную ячейку, которую я (по неосторожности) объявил пустой, и ему пришла идея изобрести смесь, которую он назвал «автофикцией»³. Следующим этапом была серия работ, где я исследовал преимущественно пограничные зоны — все те ситуации, в которых наложения обнаруживают как общие, так и несовместимые черты двух взаимодействующих жанров: написанные от третьего лица автобиографии, автофикции, мнимые мемуары и так далее. Моим следующим шагом была попытка проследить метаморфозы автобиографического текста, когда он перестает быть письменным, — в живописных автопортретах, в кинематографе от первого лица или же когда, оставаясь в рамках письменного изложения, автор меняет медиасреду и переходит в Интернет. Такова тема одной из моих последних книг — «Дорогой экран», где на примере блогов я пытаюсь показать взаимоналожения дневника, переписки и прессы...

Одним из последствий этого увлечения грамматикой и анализом стало то, что я перестал верить в извечность жанров: отныне история литературы представлялась мне лишь серией трансформаций. А рассказ об этих трансформациях, когда он пишется исходя из личных пристрастий, подчиняется правилам того, что Поль Рикёр называл нарративной идентичностью: написание истории отдельного жанра может оказаться такой же мифической затеей, как и написание истории отдельного индивида. Существовала ли автобиография в античном мире? Нетрудно найти некоторые черты современной автобиографии в том или ином типе древних текстов. Но вопрос в том, выполняли

³ Серж Дубровский — французский писатель и теоретик литературы, автор многочисленных автобиографических сочинений. Известен своим вкладом в теоретическое осмысление современной автобиографической прозы. Его ныне популярный термин «автофикция» недавно был включен во французские энциклопедические словари *Ларусс* и *Робер* — примеч. пер.

ли они аналогичную функцию. Поскольку данное повествование — своего рода автобиография, считаю возможным сделать одно признание. Слепленный «Исповедью» Руссо, я стал рассматривать год ее публикации, 1792, как своего рода переломный момент, радикальный разрыв, которым открывалась современная эпоха — период, находившийся в центре моего внимания. В этом тоже было что-то мифическое — просто мифу о древнем происхождении я предпочел миф о недавнем появлении. Конечно же, история должна писаться по-другому. Поэтому, как мне кажется, я был ближе к истине, когда избрал другую тактику, не менее занимательную, но методологически более корректную, — увлекся коллекционированием документов и составлением описей. Одной из проблем изучения личных записей является то, что внимание исследователей сосредоточено на тех редких опубликованных произведениях, которые имели успех и надолго пережили своих создателей. Между тем, прежде чем конституироваться в литературный жанр, автобиографическое письмо было и остается ничем иным, как чрезвычайно широко распространенной *практикой*, и было бы опрометчивым подходить к нему лишь с точки зрения его восприятия. Но я опережаю события, это выяснится по ходу рассказа.

211

В самом деле, мои первые исследования, положенные в основу «Автобиографического пакта», касались исключительно шедевров, которыми я восхищался: Руссо, Стендаль, Жид, Сартр, Мишель Лейрис. Я пропустил Шатобриана, которого обожал, но который меня пугал. В вашей стране⁴ реакцией на такой выбор стали недовольно нахмуренные брови: дескать, только мужчины, ни одной женщины! В дальнейшем я постарался исправить, посвятив целую книгу 115-ти дневникам, авторами которых были юные девушки. Она так и назвалась: «*Le Moi des demoiselles*» («Я» молодых девушек»). Паритет был, таким образом, восстановлен. Что касается этих, столь высоко ценимых мною произведений, то я сделал попытку проанализировать сложность их композиции, но также — их необычайное разнообразие:

⁴ Имеются в виду Соединенные Штаты, где проходила конференция, на которой состоялось это выступление — *примеч. пер.*

в самом деле, у Руссо — это мифологическое построение, у Сартра — аргументативная диалектика, у Лейриса — блуждания и поэтические переплетения: поистине, автобиографическое творчество способно вобрать в себя практически все иные жанры и формы!

Посвятив несколько лет изучению этих шедевров, а также исследованию автобиографического «пакта», я вдруг начал испытывать мучительные сомнения. Неужели всю оставшуюся жизнь в науке я буду заниматься тем же самым? Неужто я исписался, исчерпал свои возможности? Каждому из нас знакомы такие депрессивные моменты. И тогда самое лучшее — отдалиться на волю случая, читать все, что попадает под руку, оторваться от того, чем вы занимались до сих пор, открыться. Я должен поблагодарить Жана Поля Сартра и моего прадедушку за то, что в 1977–1978 годах они помогли мне выйти за пределы священного пространства литературы и стать открытым для автобиографического самовыражения обычных людей. В последней фразе «Слов» Сартр провозглашает, что он — «весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой». Я поймал его на слове, особенно после того, как в 1976 году посмотрел фильм Александра Астрюка и Мишеля Конта «Сартр сам о себе». В нем Сартр рассказывает о своей жизни перед камерой: он делает это так безыскусно и беззащитно, его чистосердечие так резко контрастирует с обольстительной хитроумностью «Слов», его тело, жесты, интонации, паузы сообщают нам нечто новое, отличное от его блистательной автобиографической прозы. Он безоружен и он обезоруживает: слушая его, проникаешься симпатией. Тогда я понял, в чем обаяние рядовой автобиографии: она требует от реципиента более активного участия, нежели автобиография литературная. Литература просчитывает свое воздействие и направляет на читателя всю его силу: вам не о чем беспокоиться, все уже сделано за вас, просто расслабьтесь и получите удовольствие! Устный же рассказ, как и письменная история жизни, созданные «обычным» человеком, предполагают участие слушателя в самом ее создании. Удовольствие в данном случае приходится не столько получать, сколько завоевывать. Эти истории нельзя воспринимать буквально, и слушатель/читатель по суще-

ству становится одним из создателей (чуть было не сказал «сочинителей», но правильнее было бы — «биографов») жизненных историй, которые перед ним разворачиваются. Это обстоятельство открылось мне во всей его полноте в истории с моим прадедом по отцовской линии Ксавье Эдуардом Лежёном, жившим в XIX веке и работавшим продавцом в одном из новых парижских универмагов, а в свободное время писавшим в стол. Он написал много всего: это были, в основном, стихи, но также автобиографические тексты, и прежде всего — большая незаконченная автобиография под названием «Этапы моей жизни», повествование которой почему-то обрывалось на двадцатом году жизни. Поначалу я воспринимал этот текст снисходительно, находя его трогательным, но трафаретным и не слишком выразительным, — до тех пор пока не обнаружил, что мой предок лгал. Причем речь шла о наиболее важных, но также и легче всего поддающихся проверке биографических фактах: рождении и женитьбе. Вообще-то жизнь его была полна трагических событий и тайн, повествование о которых он подчас переносил на второстепенные персонажи и которые в конце концов и заставили его остановиться на полпути. И вот я, вместе со своим отцом, то есть его внуком, превратился в сыщика, роющегося в архивах, расспрашивающего родственников и пытающегося расшифровать текст, который, по своей наивности, я считал наивным.

213

Позже я осознал, что роль детектива была моей слабостью. Я уже пробовал себя в этой роли в начале 1970-х, когда «психологизировал» прустовскую мадленку⁵ или изучал признания Лейриса и Руссо. Конечно, я не собирался ставить им диагноз, я лишь хотел понять, как они пишут, как в письме отражается их бессознательное, как они плывут по его волнам, если можно так выразиться. Это было довольно рискованно — особенно когда дело касалось такого ныне здравствующего писателя, как Мишель Лейрис. Начиная с 1985 года, я вновь превратился в ищейку, с головой погрузившись в текстологические исследования: черновики различных авторов автобиографий позволили мне

⁵ Имеется ввиду эпизод с печеньем-мадленкой, вкус которого воскрешает в памяти рассказчика его детство, — из книги Пруста «По направлению к Свану» — *примеч. пер.*

проследить процесс выработки того, что Поль Рикёр назвал их «нарративной идентичностью». Я изучал черновики сартровских «Слов», «Детства» Натали Саррот, всех автобиографических начинаний Жоржа Перека. Я также изучал процесс создания дневника Анны Франк, то, как она сама полностью переделала свой текст, изменения, внесенные впоследствии ее отцом.

«Любопытство сгубило кошку», — говорят англичане. Мы же, французы, говорим, что «любопытство — большой порок». Но, быть может, наши слабости и недостатки — черты характера или причуды — способны иногда превращаться в полезные методические приемы? В данном докладе я уже упоминал о трех таких недостатках: о свойственных мне страшной дотошности, маниакальном любопытстве и страсти к коллекционированию. Последнее качество получило развитие как раз тогда, когда я начал заниматься такой необъятной темой, как сочинения обычных людей.

214 И действительно, в период с 1977 по 1986 год я отошел от литературного канона и стал расширять территорию своих поисков в двух новых направлениях. Ими стали личные записи обычных людей, открытые мне моим прадедом, и медийное пространство, открытое мне Сартром.

Я решил составить полный указатель письменных автобиографий, созданных между 1789 и 1914 годами, то есть, грубо говоря, в XIX веке, начав с печатных работ и разделив тексты по роду занятий или социальному положению их создателей. Моя идея заключалась в том, чтобы написать своего рода «социальную историю дискурсов». Сначала я искал торговцев, промышленников и финансистов — начиная с тех, кто обанкротился, и кончая теми, кто ставил свой успех в пример другим. Отныне речь шла уже не об обсуждении отдельных показательных шедевров, а об изучении множества текстов, демонстрирующих широкий набор способов, которыми люди в той или иной ситуации рассказывали свою жизнь. Но нужно было также как-то интерпретировать эти тексты — причем не так, как это делают историки, которые используют их как простые «источники» информации по другим вопросам, но подходя к ним как к полным правым историческим фактам: вот как в такую-то эпоху инди-

вид мог реконструировать собственную жизнь и рассказать об этом другим. После торговцев я взялся за учителей, после учителей — за преступников. Кто-то может возразить, что преступник — это не профессия: тем не менее, иногда это так. Единство корпуса подобных текстов проистекает из общности их дискурсивных стратегий, накладываемой самой судебной системой: здесь я уже забрёл на территорию Мишеля Фуко. Затем я попытался исследовать в том же духе, как во второй половине XIX века медиализация и криминализация гомосексуальности парадоксальным образом сделали возможным ее автобиографическое самовыражение и подготовили выход в свет записок Андре Жида под названием «Если зерно не умрет» — первой гомосексуальной автобиографии, опубликованной во Франции самим ее автором. Чтобы изучать автобиографии преступников и гомосексуалов, мне пришлось отказаться от работы с печатной продукцией и заняться архивными разысканиями. Я был ошеломлен количеством и богатством найденных текстов: работы хватило бы на пятьдесят человек, а я был один. В тот же период я обнаружил также колоссальный массив современных автобиографий обычных людей, опубликованных за авторский счет, — то, что американцы называют “vanity press”. Так же, как и предыдущие тексты, я классифицировал их в соответствии с типом дискурса, обратив при этом внимание на несоответствие между спросом и предложением в том, что касается жизнеописаний. Автобиографические истории, с которыми жаждают ознакомиться читатели данной конкретной эпохи, или с которыми им предлагают ознакомиться, не всегда создаются их современниками самостоятельно.

215

Еще более отчетливо данное обстоятельство проявилось в процессе исследований, вдохновленных фильмом о Сартре. Я изучал автобиографии, созданные в соавторстве, когда под одним «я» скрываются двое, когда это «я» является продуктом диалога. Это происходит в двух диаметрально противоположных случаях: когда речь идет о знаменитостях (и тогда я стал изучать историю газетного интервью, первые послевоенные радиointервью, а также современные телевизионные передачи вроде

«Апосторофов» Бернара Пиво⁶ и, наоборот, когда речь идет о никому не известных людях (здесь уместно вспомнить подходы «устной истории», отстаиваемые некоторыми современными историками и социологами, а также популистские книги, «дающие слово» безвестным личностям, которых хорошо потрепала жизнь).

216 Исследования в этих направлениях постепенно отдалили меня от академического канона и поэтики, зато приблизили к самому себе. Я всегда стремился сохранить связь между работой в университете и личными занятиями. Так, в 1970-е, занимаясь расшифровкой Мишеля Лейриса, я устроил сам для себя маленькую литературную мастерскую, где апробировал новые приемы для измерения собственных глубин. А когда я изучал устную историю, то попробовал сделать это на материале собственной семьи, записывая рассказы родителей, брата, сестер и так далее. Быть может, ключ к разгадке моей жизни находился не во мне самом, а в том, что меня окружало?... Эта эволюция отразилась и в названии двух книг, написанных мною в те годы: «*Je est un autre*» 1980 года («Я — это другой» — формула, взятая мною у Рембо, но в несколько ином смысле...) с подзаголовком: «Автобиография: от литературы к СМИ» и «*Moi aussi*» 1986 года («Я тоже»), не имеющая подзаголовка, смягчающего подобную завязку.

Подчас какая-нибудь мелочь может подтолкнуть вас, если вы уже созрели, к новой области, даже если затем вам придется потратить определенное время на то, чтобы найти в ней свою нишу и осмыслить сделанный выбор. Именно так произошло со мной в 1986–1987 годах, когда я начал заниматься дневниками, причем на основе методов, диаметрально противоположных тем, которые я использовал для изучения автобиографий. Затем я предпринял, так сказать, прямое действие, никак не связанное с моей академической активностью, для того, чтобы поднять в

⁶ Популярная телепередача, которую журналист и писатель Бернар Пиво вел в течение целых 28 лет. В гостях у Пиво побывали многие звезды мировой величины: от Гарсия Маркеса, Чарльза Буковского до Александра Солженицына и Владимира Набокова — *примеч. пер.*

глазах французского общества ценность автобиографического письма.

Для большей ясности расскажу вам об этих двух затеях поочередно, но вы увидите, что они были теснейшим образом связаны.

Что касается дневников, то все началось с одного разговора, который состоялся у меня с моей подругой Элиан Лекарм в январе 1987 года. Мы говорили о сегодняшних подростках. Она сказала: «Сегодня меньше подростков ведут дневники, чем это было в наше время». Я же утверждал обратное, полагая, что данная практика должна была стать более массовой благодаря тому, что молодежь теперь дольше учится в школе. Но ни я, ни она не имели доказательств для подкрепления наших утверждений. В ученых книгах ничего об этом не говорилось. Никто ничего не знал. Нужно провести опрос, – подумал я. И тогда я вдруг заметил, что вот уже семнадцать лет, как я занимаюсь автобиографией, но при этом совершенно забросил проблему дневника, так и не избавившись от юношеских обид, нанесенных мне этим жанром. Однако с тех пор я повзрослел и постепенно вернулся к практике ведения дневника — не столь претенциозной как автобиография, но, вероятно, более правдиво отражающей пережитое. А в последующие годы я начал размышлять о таких письменных практиках, которые позволили бы соединить преимущества автобиографии (реконструкция) и дневника (спонтанность), но избежать их недостатков (игры воображения и малозначительности). Упрощая в силу ретроспективного характера моего изложения суть изменений, растянувшихся на многие годы и осознанных мною далеко не сразу, скажу так: да, я, специалист по автобиографии, уже не восхищался Автобиографией с большой буквы; отныне я мечтал о дробных, датированных автобиографических текстах, гибко, день за днем, подобно дневнику, отслеживающих метаморфозы чьей-либо жизни.

И вот в 1987 году я ступил на эту новую территорию, недооценивавшуюся мною прежде, но, в отличие от автобиографии, уже достаточно серьезно возделанную французской университетской критикой. В самом деле, существовало три больших

справочных издания, авторами которых были, соответственно, Мишель Лелё, Алэн Жирар и Беатрис Дидье (Michele Leleu, Alain Girard, Beatrice Didier). Но все трое рассматривали дневник лишь как литературный жанр и основывались на чтении опубликованных сочинений. Между тем дневник является прежде всего жизненной практикой и письменной практикой. Его нельзя изучать исключительно по книгам, причем по двум причинам. Первая состоит в том, что для того, кто его ведет, дневник представляет собой совершенно уникальный след, чуть ли не произведение искусства: бумага, почерк, украшения, вложенные документы превращают его в своего рода реликварий, а его подчас весьма громоздкие габариты плохо вяжутся с книжным форматом, что приводит к купюрам. Вторая причина — это то, что в мире пишутся миллионы дневников, из которых ежегодно публикуется лишь совсем небольшая часть. Во Франции она исчисляется несколькими десятками. Можно ли быть уверенными в том, что эта опубликованная часть показательна в отношении целого?

218 Нет, и можно даже быть уверенными в обратном. Например, во Франции 85% опубликованных дневников написаны мужчинами, хотя известно, что дневники в основном ведут женщины. Кроме того, в первую очередь издаются дневники писателей или известных людей, или же участников войны: обычная жизнь никому не известных людей представлена очень слабо.

Если при изучении автобиографии я отталкивался от дефиниции и целого корпуса шедевров, то в случае с дневником все обстояло ровно наоборот. Я забыл дать ему определение и понял это лишь спустя двенадцать лет. Тогда я придумал самую что ни на есть простую и понятную дефиницию: в моем понимании, дневник — это «серия датированных следов». Ранее мне приходилось давать дефиницию автобиографии, поскольку границы между нею и художественным вымыслом достаточно размыты. Другое дело — дневник. Если ваша жизнь, описанная в дневнике, будет выдуманной, то это уже будет не вымыслом, а просто-напросто враньем (по отношению к другим) и полнейшим сумасбродством (в том, что касается вас самих)... И тогда я, эмпирическим путем, подобно социологу или журналисту, занялся поисками реальных дневников. Я проводил опросы, рас-

сылая вопросники по школам и университетам. Я опубликовал в прессе призыв поделиться дневниковыми записями: мне ответили 47 человек, я вступил с ними в переписку и, в конце концов, без всяких комментариев опубликовал их письма в книге под названием «*Cher cahier*» («Дорогая тетрадка»).

Но мне было этого мало: я желал видеть сами рукописи. Если раньше я ходил в архивы (именно там я нашел вышеупомянутые девичьи дневники в количестве 115 штук), то теперь я опирался на деятельность двух ассоциаций. У нас во Франции есть ассоциация, которая предлагает подросткам, решившим выбросить свой дневник, отдать его ей на хранение с возможностью впоследствии истребовать назад. На чердаке этой ассоциации я смог ознакомиться с дневниками современных подростков, нередко полными драматизма, порой весьма изобретательными. Несмотря на то, что я имел разрешение на чтение этих дневников, это оказалось довольно волнительным и тяжелым, хотя и поучительным опытом. Другую ассоциацию основал я сам вместе со своими друзьями. Это ассоциация, которая собирает автобиографические тексты, написанные никому не известными людьми. Благодаря сети, состоящей из друзей, я получил доступ к великому множеству личных дневников. Я был удивлен их серьезностью, хорошим языком, красотой. Они развенчивали предрассудки, которыми во Франции окружена эта практика, нередко считающаяся ребяческой, нарциссической и эстетически ничтожной.

Вскоре я столкнулся с другой проблемой: как поделиться увиденным? Недостаточно об этом рассказать — надо это показать. Надо было, таким образом, сделать выставку, хотя выставлять такие интимные вещи — дело весьма деликатное. Эта выставка смогла состояться благодаря «Ассоциации в поддержку Автобиографии» и моей подруге Катрин Богэрт. Она прошла в Лионской муниципальной библиотеке в 1997 году. На ней мы выставили 250 оригинальных дневников, причем вперемешку — дневники знаменитостей и рядовых людей. Мы разработали нарративный сценарий выставки, где излагалась история каждого из дневников от первой до последней страницы, а сами дневники, выставленные в витринах, шаг за шагом иллюстриро-

вали наши пояснения. Если же кто-то хотел самостоятельно осмотреть выставку, читая описание каждого отдельного экспоната, то это занимало у него несколько часов. Выставку посетило много народу. Люди испытывали, если можно так сказать, священный трепет перед этим своеобразным храмом частной жизни. Каково же было наше удивление, когда один местный хореограф, почти случайно оказавшийся на выставке, уходя, изъявил желание поставить по ее следам балет — и сделал это! Он взял дневник девочки-подростка по имени Катрин Поцци, жившей в конце XIX века, и создал на его основе хореографическую постановку. Роль Катрин исполняли сразу три танцовщицы: одна из них читала текст, а две другие в танце и в музыке пытались передать то, что невозможно выразить словами, то, что находилось между строк. В последний день выставки мы вдвоем с Катрин Богэрт нанесли прощальный визит этим 250-ти дневникам, которые в течение трех месяцев учились жить вместе. Скоро их разлучат навеки, а декорации разберут и уничтожат. Выставка — это искусство мимолетного. И наш каталог с его немногочисленными иллюстрациями вряд ли смог бы продлить ей жизнь. Удрученные этим обстоятельством, мы начали свое долгое «стратегическое дежурство», выжидая, когда подвернется подходящий случай. Я же, воспользовавшись этой оттяжкой, решил заняться разработкой сюжетов, которые оказались слабыми местами нашей выставки, а именно: отдаленным прошлым и живой современностью. Что касается прошлого, то меня интересовали такие проблемы, как дневник в античности и радикальные изменения, произошедшие в Европе в конце Средних веков: появление бумаги и изобретение механических часов. Что касается современности, то мое внимание привлекли он-лайн дневники, или «живые журналы», которым я посвятил в 2000 году свою книгу «*Cher écran*» («Дорогой экран»), прямо перекликающуюся с выпущенной мною ранее «Дорогой тетрадкой». Затем произошло долгожданное чудо: в 2001 году один издатель предложил нам сделать большую иллюстрированную книгу, где будут не только иллюстрации, но и много текста, то есть нечто, могущее стать и очерком, и выставкой одновременно. Наша книга, содержащая репродукции более 150 дневников и предлагающая

обзор существования этой практики во Франции, вышла в свет в 2003 году под тем же названием, что и выставка: «*Un journal a soi*» («Личный дневник»).

Теперь вернемся немного назад. Я уже говорил о своем параллельном увлечении, шедшем рука об руку с «открытием» дневника: созданию боевой ассоциации вне университета. Все началось с осознания одной потребности, в отношении которой у французского общества не было удовлетворительного ответа: речь шла о необходимости для авторов передать потомкам свои автобиографические сочинения. Около 1986 года я распространил через различные газеты призыв к собиранию семейных архивов: я искал новые источники для своего сводного указателя автобиографий XIX века. В нем говорилось: «Если у вас в кладовке или на чердаке есть какие-нибудь автобиографические записки прошлого века, напишите мне об этом: мне это интересно!» И я получил ряд положительных ответов, но также несколько весьма странных писем. Там было сказано: «Месье, доведу до Вашего сведения, что у меня дома нет никаких рукописей XIX века» После нескольких неловких фраз человек переходил к сути: «Тем не менее, у меня есть нечто, что могло бы Вас заинтересовать». Вы, очевидно, догадываетесь, что речь шла об автобиографии или дневнике самого моего корреспондента, который продолжал извиняющимся тоном: «Я знаю, что это не совсем то, я, конечно, не человек XIX века, но все же...» Первое такое письмо вызвало у меня улыбку. Но когда стали приходиться и другие, я понял, что дело принимает серьезный оборот. Я согласился с тем, чтобы эти люди присылали мне свои тексты, и пообещал их прочесть. И тут пришла моя очередь испытать неловкость. Хочу сказать пару слов о том, чем была обусловлена эта неловкость с той и с другой стороны.

Мои корреспонденты ощущали неловкость оттого, что им хотелось, чтобы их прочли раньше, чем они умрут, и, во-вторых, чтобы их тексты не умерли вместе с ними. Для этого есть только три пути. Издательство? Но издательства могут опубликовать лишь очень ограниченное число текстов, и именно поэтому так много автобиографов попадает в ловушку публикации за счет автора. Архив? Может быть, текст у вас и возьмут на хранение,

но читать точно не будут. Во Франции, если вы придете в местный архив с дневником под мышкой, вас примут за сумасшедшего и скажут: «Чтобы в установленном порядке сдать материалы на хранение, Вы должны сделать три вещи: 1) умереть; 2) выждать пятьдесят лет; 3) вновь явиться к нам на прием». Принимаются лишь тексты, доказавшие свою способность выжить во враждебном окружении. Что же остается? Семья. Семьи любят семейные предания, но гораздо меньше они любят автобиографические сочинения отдельных своих членов, эти сугубо индивидуальные, пристрастные и не слишком скромные версии групповой истории. Все это создает неудобства. Записи нередко исчезают при переходе имущества к новому владельцу или при переезде. Люди часто покидают квартиры и дома в спешке. Во Франции сочинения личного характера можно найти у букинистов, на развалах, на блошиных рынках... Вот почему люди обращаются ко мне.

222

А что мне остается делать? Я читаю, сочувственно отвечаю, но порой мое сочувствие показное: ведь я не всеяден, я не могу любить всех подряд. Кроме того, у меня нет решения проблемы хранения этих сочинений. Не могу же я превратить свою квартиру в архив; да и сам я когда-нибудь умру, и вещи из моих шкафов выбросят на помойку. В обоих случаях — как для чтения, так и для хранения — решение может быть только коллективным. Только группа или ассоциация может аккумулировать любой опыт и любое мироощущение во всем их многообразии. С другой стороны, только общественное хранилище может быть если не вечным — ибо ничто не вечно, — то, по крайней мере, долговременным местом хранения архивных документов.

Впервые идея того, как решить проблему, пришла мне в голову в 1988 году, когда я узнал о существовании Национального архива дневниковых записей (Archivio Diaristico Nazionale), созданного в 1984 году в маленькой тосканской деревушке журналистом Саверио Тутино. Он убедил мэра отдать в свое распоряжение часть здания деревенской ратуши для хранения автобиографических архивов, финансирование которых должно было осуществляться на конкурсной основе. Подумать только, конкурс автобиографий! Я был слегка шокирован, присутствуя на

«финале» этого конкурса, и поклялся себе, что никогда не стану заниматься подобными вещами. Но в остальном это начинание заслуживало восхищения. Спустя три года, благодаря своей подруге Шанталь Шавейриа-Дюмулен, я обнаружил в окрестностях Лиона городишко — он называется Амбериё-ан-Бюже, — где имеется слишком большая библиотека (такое иногда случается!) и мэр которого вместе с библиотекарем прониклись нашим проектом. Мы решили сделать то же, что и итальянцы, но без конкурса — просто передавая информацию из уст в уста. И мы это сделали, и это работает. «Ассоциация в поддержку автобиографии» (АРА — Association pour l'Autobiographie), созданная в 1992 году, уже собрала и «обработала» около 2000 текстов. Речь, в первую очередь, идет о современных текстах, написанных во второй половине XX в. Эти тексты не отражают процентного соотношения реальной действительности и находятся, так сказать, в обратной пропорции: 75% составляют автобиографические рассказы (тогда как в жизни они наиболее сложны для написания и встречаются довольно редко), 20% приходится на дневники (тогда как во Франции их ведут три миллиона человек) и лишь 5% составляют письма (тогда как их пишет чуть ли не каждый).

223

Отказ от конкурса увенчался созданием оригинальной интерактивной системы. Мы поддерживаем личные отношения со всеми людьми, предоставившими нам текст.

После того как текст поступает и регистрируется в Амбериё, его отсылают в «группу чтения». У нас имеется пять таких групп, в среднем по десять человек в каждой. Находятся они в разных городах Франции (Париже, Страсбурге, Экс-ан-Провансе, а также в Нормандии). Они собираются раз в месяц и работают круглый год, обеспечивая прочтение, описание и индексацию текстов. С самого начала я вхожу в состав одной из таких групп. Это совершенно уникальное ощущение — открывать для себя тексты, которых еще никто не касался, и иметь возможность читать их, не вынося никаких вердиктов. Мы принимаем всё, нам не надо ничего отбирать, поскольку мы ничего не публикуем. Если текст нам не подходит, мы откладываем его до следующего заседания, и его берет читать кто-то другой. В конце

концов, все тексты находят своего читателя. Мы составляем на него аннотацию, которую предоставляем для сведения автору и которая должна позволить будущим читателям отыскать данный текст. Каждые два года издаются сборники этих аннотаций под названием «*Garde-mémoire*» (их вышло уже шесть) с тематическим указателем в конце. Благодаря таким «систематическим каталогам» историки, социологи и просто интересующиеся, приехав в Амбериё, могут ознакомиться с текстами. Впрочем, и сами эти каталоги читаются, как романы, как сказки «Тысячи и одной ночи» — или, точнее, «Тысячи и одной жизни»: богатейшее собрание разнообразных и совершенно неожиданных историй!

224 Я говорил об интерактивности. Так вот, это также означает, что каждый из нас может выступать в разном качестве. Члены Ассоциации, входящие в «группы чтения», могут сами подавать в АРА собственные тексты. Податели, таким образом, становятся читателями и наоборот. АРА — это не ученое сообщество; это скорее клуб любителей, которых объединяет общее хобби. Так, многие члены ассоциации сами ведут дневники, и они счастливы, что у них наконец-то появилась возможность открыто обмениваться своими соображениями о практике, сих пор вызывающей в нашей стране сдержанное и даже насмешливое отношение. Наряду с «группами чтения» имеются также группы по интересам: их участники читают опубликованные книги, организуют занятия литературным мастерством, коллективные обсуждения, обмен писательским опытом и так далее. Это сети, где люди свободно обмениваются мнениями и достижениями, где они не связаны никакими властными отношениями, а действуют по взаимному согласию. Вот почему мы без особого труда смогли собрать достаточное количество рукописей для нашей выставки дневников. Мы также издаем журнал «*La Faute à Rousseau*» («Ошибка Руссо»), который является своеобразным связующим звеном, информируя читателей о последних новостях в области автобиографического творчества и публикуя тематические подборки. Так, две последние подборки были посвящены, соответственно, телу и деньгам в автобиографических текстах.

Нас не так уж много — всего около 800 человек, и мы существуем всего тринадцать лет. Мы получаем радость от наших встреч, но удалось ли нам хоть в чем-то изменить французское общество? Считать так было бы слишком большой претензией. Лучше сказать, что мы «сопровождаем» эти перемены. В последние несколько лет женские журналы стали проявлять большой интерес к личным дневникам, и мне теперь часто приходится давать интервью, что забавляет моих друзей и родных. В журналах, по радио и на телевидении сегодня идут активные дебаты об «автофикции»: этот красивый и расплывчатый термин ныне используется для обозначения и автобиографии, и автобиографического романа, прежде вызывавших весьма неоднозначное отношение публики. К этому жанру относят целый ряд совершенно разных произведений, усматривая в подобном конгломерате не то новую школу, не то новое литературное направление — как это было с «Новым романом» в 1960-е годы. Но главные изменения, изменения, которые чреватые далеко идущими последствиями, происходят на уровне средней школы. В 2001 году автобиография здесь становится одним из пяти обязательных разделов курса литературы и французского языка для старших классов. Тысячи преподавателей должны отныне преподавать этот предмет десяткам тысяч своих учеников. Иногда я опасаясь, что дело из одной крайности перейдет в другую: ведь обязателька может привести к тому, что автобиография превратится в скучнейшее дополнительное задание, в пытку. Не придется ли мне через несколько лет создавать «Ассоциацию для борьбы с автобиографией»?

225

Мой рассказ близится к концу, и я начинаю думать, не поддался ли я опасным искушениям автобиографического жанра. Единственное, перед чем, надеюсь, мне удалось устоять, — это то, против чего предостерегала баронесса Стафф в своем трактате о правилах хорошего тона: кокетливого самоуничтожения. Если автобиография может, как я считаю, стремиться к красоте и своеобразной правде, отличающим произведение искусства, то вряд ли она может сама по себе быть научным трудом. Можно ли препарировать самого себя? Это попытался сделать Пьер Бурдьё в своей последней работе *«Esquisse pour une auto-*

analyse» («Эскиз к самоанализу», 2004), в самом начале которой он заявляет: «Это — не автобиография». То, что только что сделал я, — несомненно, автобиография, простое свидетельство, которое должно быть включено в коллективное поле, сопоставлено с другими подобными свидетельствами, интерпретировано с помощью инструментов, которыми я не владею. «Я» — это всего лишь слабый огонек; я пробуждаюсь от моего аутистического сна: вы здесь, и я благодарю вас.

Postscriptum

226 Дорогие российские читатели! Вот как семь лет назад я рассказывал о своей интеллектуальной жизни студентам и преподавателям одного американского университета. Это было в штате Кентукки, стране лошадей. Я подумал, что могу предложить вашему вниманию этот рассказ безо всяких изменений. Одна из главных проблем, связанных с автобиографией, состоит в том, что, коль скоро вы ее опубликовали, вы чувствуете себя обязанным походить на то, что вы сказали, соответствовать созданному вами образу, который уже нельзя просто так изменить. Отныне вы навеки обречены на самого себя. Поэтому я и не собираюсь ничего менять в написанном — просто кое-что добавлю. В 2012 году «Ассоциации в поддержку автобиографического пакта» (АРА) исполняется двадцать лет: солидный возраст! На данный момент она располагает 3000 единиц хранения, и скоро ей уже не хватит занимаемых помещений. Это не может не беспокоить, придется искать какое-то решение... На лекции 2005 года в Лексингтоне я ничего не сказал еще об одном предмете моего беспокойства: в какое русло направить свои творческие усилия теперь, после того как я опубликовал работу «*Un journal à soi?*» («Личный дневник?»). Книга, которую предстоит написать, работа, которую необходимо закончить, — все это своеобразная защита от смерти. И чем мы старше, тем желаннее этот щит. Но, независимо от возраста, вас подстерегает еще одна опасность: начать переписывать по инерции уже написанное, что представляет собой другую форму смерти. И вот в 2005 году я понял, что ввязался в новый серьезный проект: написание ис-

тории происхождения личного дневника во Франции в период между 1750 и 1815 годами, причем на основе совершенно новых материалов, найденных мною в архиве. Моя страсть к неизданным текстам и неизвестным людям обрела, таким образом, новый объект. Я мечтаю о богато иллюстрированной книге, своего рода археологическом дневнике, который читался бы как сборник рассказов и не содержал окончательных выводов. О современном состоянии этой книги вы можете судить по материалам, публикуемым по мере готовности на моем сайте *Autopacte*⁷. Она будет такой толстой, что я не смогу найти издателя: и это будет предлогом для того, чтобы не заканчивать работу... а значит, не умирать!

Перевод с французского Юлии Ткаченко

⁷ <http://www.autopacte.org/>

Полная библиография работ Филиппа Леже-
на об автобиографии, опубликованных на
французском, английском и русском языках
(по состоянию на 9 января 2013 г.)

Français

Livres

229

Exercices d'ambiguïté. Lectures de Si le grain ne meurt, Lettres Modernes, coll. « Langues et styles », 1974, 108 p.

Lire Leiris. Autobiographie et langage, Klincksieck, 1975, 192 p. (Grand Prix de la critique littéraire 1976. Épuisé. En ligne <http://www.autopacte.org/Lire-Leiris-intro.html>)

Je est un autre. L'Autobiographie de la littérature aux médias, Seuil, coll. « Poétique », 1980, 336 p.

[Sommaire:

http://www.autopacte.org/Je_est_un_autre_Sommaire.html]

Xavier-Edouard Lejeune, *Calicot*. Enquête de Michel et Philippe Lejeune, Ed. Montalba, coll. « Archives privées », 1984, 368 p. [Épuisé]

[Sommaire:

http://www.autopacte.org/Calicot_Sommaire.html]

Moi aussi, Seuil, coll. « Poétique », 1986, 350 p. [Épuisé]
[Sommaire: http://www.autopacte.org/Moi_aussi_Sommaire.html]

« *Cher cahier...* », Témoignages sur le journal personnel recueillis et présentés par Philippe Lejeune, Gallimard, coll. « Témoins », 1989, 259 p.

La Pratique du journal personnel. Enquête, n° 17 des *Cahiers de sémiotique textuelle*, 1990, 199 p.

La Mémoire et l'Oblique. Georges Perec autobiographique, P.O.L., 1991, 256 p. [Sommaire:

http://www.autopacte.org/La_Memoire_et_%20Loblique.html]

Le Moi des demoiselles. Enquête sur le journal de jeune fille, Seuil, coll. « La couleur de la vie », 1993, 455 p. [Sommaire: http://www.autopacte.org/Le_moi_des_demoiselles_Sommaire.html]

Lucile Desmoulin, *Journal 1788–1793*, texte établi et présenté par Philippe Lejeune, Editions des Cendres, 1995, 167 p.

Le Pacte autobiographique, Seuil, coll. « Poétique », 360 p. Nouvelle édition avec une postface dans la collection « Points » en 1996.

230 [Sommaire: http://www.autopacte.org/Le_Pacte_autobiographique_Sommaire.html]

Un journal à soi, ou la passion des journaux intimes, catalogue établi par Philippe Lejeune, avec la collaboration de Catherine Bogaert, Exposition à la Bibliothèque municipale de Lyon (30 septembre-27 décembre 1997), Association pour l'autobiographie et Amis des bibliothèques de Lyon, 1997, 144 p., ill.

L'Autobiographie en France, A. Colin, coll. « U2 », 272 p. Seconde édition mise à jour, A. Colin, coll. « Cursus », 1998, 192 p. Troisième édition mise à jour, A. Colin, coll. « Cursus », 2010, 216 p.

Pour l'autobiographie, Seuil, coll. « La couleur de la vie », 1998, 252 p.

[Sommaire: http://www.autopacte.org/Pour_%27autobiographie_Sommaire.html]

Les Brouillons de soi, Seuil, coll. « Poétique », 1998, 430 p. [Sommaire:

http://www.autopacte.org/Les_Brouillons_de_soi_Sommaire.html]

« *Cher écran...* ». *Journal personnel, ordinateur, Internet*, Seuil, coll. « La couleur de la vie », 1998, 444 p. [Sommaire: http://www.autopacte.org/Cher_ecran_Sommaire.html]

Philippe Lejeune et Catherine Bogaert, *Un journal à soi. Histoire d'une pratique*, Éditions Textuel, 2003, 216 p. ill. [Présentation: http://www.autopacte.org/Un_journal_%E0_soi.html] [Sommaire: http://www.autopacte.org/Un_journal_a_soi_Sommaire.html]

Ariane ou le Prix du journal intime, Éditions des Cendres, collection « De trois en trois », série Journal intime, 2004, 64 p. [Sur Marguerite Grépon]

Signes de vie. Le Pacte autobiographique 2, Seuil, 2005, 275 p.

[Sommaire: http://www.autopacte.org/Signes_de_vie_Sommaire.html]
[Couverture: <http://www.autopacte.org/GimpSignesDeVie800.jpg>]

Philippe Lejeune et Catherine Bogaert, *Le journal intime. Histoire et anthologie*, Éditions Textuel, 2006, 506 p., ill. [Préface: <http://www.autopacte.org/pr%E9facejournalintime2006.html>]

Autogénèses. Les Brouillons de soi 2, Seuil, coll. « Poétique », à paraître.

231

Direction de colloques et d'ouvrages collectifs

Le Récit d'enfance en question, Centre de sémiotique textuelle, Université Paris-X, Nanterre, colloque 16–17 janvier 1987. Publication dans les *Cahiers de sémiotique textuelle*, n° 12, 1988, 257 p.

Le Désir biographique, Centre de sémiotique textuelle, Université Paris-X, Nanterre, colloque 10–11 juin 1988. Publication dans les *Cahiers de sémiotique textuelle*, n° 16, 1989, 306 p.

Le Journal personnel, Centre de sémiotique textuelle, Université Paris-X, Nanterre, colloque 18–19 mai 1990. Publidix, Université Paris-X, collection RITM, 1993, 245 p.

Archives autobiographiques, *Cahiers de sémiotique textuelle*, n° 20, 1991, 194 p. (Dossier rassemblé pour la journée d'étude « Archives autobiographiques », organisée en collaboration avec Michelle Perrot, Centre RITM, Université Paris-X Nanterre, 19 juin 1991).

Autofictions & Cie, avec Serge Doubrovsky et Jacques Lecarme, Centre RITM, Université Paris-X, Nanterre, colloque 20–21 novembre 1992, *RITM*, n° 6, 1993.

Le Tournant d'une vie, avec Claude Leroy, Centre RITM, Université Paris-X, Nanterre, 10–11 juin 1994, *RITM*, n° 10, 1995.

L'Autobiographie en procès, Centre RITM, Université Paris-X, Nanterre, colloque 18–19 octobre 1996, *RITM*, n° 14, 1997.

Récits de vie et médias, Centre RITM, Université Paris-X, Nanterre, colloque 20–21 novembre 1998, *RITM*, n° 20, 1999.

Genèse du « Je ». *Manuscripts et autobiographie*, sous la direction de Philippe Lejeune et Catherine Viollet, CNRS Éditions, 2000, 245 p.

Autobiographies, sous la direction de Philippe Lejeune et Catherine Viollet, *Genesis*, n° 16, 2001, 192 p.

Michel Leiris, ou De l'autobiographie considérée comme un art, Centre RITM, Université Paris-X, Nanterre, colloque 12–13 décembre 2003, sous la direction de Philippe Lejeune, Claude Leroy et Catherine Maubon, *RITM*, n° 31, 2004, 245 p.

232 [Sommaire: <http://www.autopacte.org/Lire-Leiris-ColloqueSommaire.html>]

Bibliographie

Cahiers de sémiotique textuelle, n° 3, 1984, 70 p.

Cahiers de sémiotique textuelle, n° 7, 1986, 90 p.

Cahiers de sémiotique textuelle, n° 13, 1988, 94 p.

Cahiers de sémiotique textuelle, n° 19, 1990, 99 p.

RITM, n° 4, 1992, 92 p.

RITM, n° 8, 1994, 104 p.

RITM, n° 13, 1996, 102 p.

RITM, n° 16, 1998, 114 p.

RITM, n° 22, 2000, 120 p.

RITM, n° 30, 2003, 116 p.

[en ligne: http://www.autopacte.org/Etudes_sur_la_litterature_personnelle_2000-2003.html]

Articles d'encyclopédie

« Journal », in *Encyclopédie de la culture française*, Eclectis, 1991, p. 389–390.

« Autobiographie » in *Dictionnaire des littératures*, Larousse, tome 1, 1993, p. 124–125.

« Autobiographie et récit de vie », in *Atlas des littératures*, Encyclopædia Universalis, p. 48–49 [Article repris sous le titre : « Autobiographie », in *Dictionnaire des genres et notions littéraires*, préface de Fr. Nourissier, Encyclopædia Universalis et Albin Michel, 1997, p. 49–54].

Préfaces

« Avant-propos » de Marie-France Terry-Maisonneuve, *En passant par la rue haute. Des anciens racontent Saint-Ouen l'Aumône*, Éditions du Valhermeil. [Histoire orale de la ville], 1987.

« Avant-propos » de Georges Perec, *Je suis né*, Seuil, coll. « La Librairie du XXe siècle ». [Recueil de textes de Perec autour de son autobiographie], 1990.

« Préface » de Amélie Weiler, *Journal d'une jeune fille mal dans son siècle. 1840–1859*, texte établi par Nicolas Stoskopf, Strasbourg, La Nuée Bleue, 1994.

« Préface » de Anne Roche et Marie-Claude Taranger, *Celles qui n'ont pas écrit. Récits de femmes dans la région marseillaise 1914-1945*, Aix-en-Provence, Édisud, 1995.

« Préface » de Malik Allam, *Journaux intimes. Une sociologie de l'écriture ordinaire*, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1996.

« Préface » de Luc Weibel, *Les Petits Frères d'Amiel. Entre autobiographie et journal intime*, Genève, Éd. Zoé, 1997.

« Préface » de Johann Heuchel, *Je vous ai tous aimés*, Journal, Seuil.

« Avant-propos » de Marie-Madeleine Million-Lajoinie, *Reconstruire son identité par le récit de vie*, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1999.

« Préface » de Marguerite Poiré, *Mes années volées. Journal d'exil d'une jeune Lorraine dans les Sudètes 1943-1945*, Éditions des Cendres, 2001.

« Avant-propos » de Ève Leleu-Galland, *Les Cahiers, mémoires de vie*, CRDP de l'Académie d'Amiens, coll. « Première école », 2002.

« Préface » d'Opal Whiteley, *La Rivière au bord de l'eau. Journal d'une enfant d'ailleurs*, La Cause des Livres, 2006.

« Avant-propos » de Françoise Simonet-Tenant, *Le Journal intime. Genre littéraire et pratique ordinaire*, Éd. Téraèdre, 2011.

Entretiens

« Grammaire de l'interview », entretien avec Jean-Luc Hennig, *Libération*, 2 août 1980.

234 « Mémoire familiale », entretien avec Catherine Roubier, *L'École des parents*, n° 1, 1982, p. 12-19.

« La passion du "je" », interview par Anne Brunswic, *Lire*, n° 189, juin 1991, p. 118-125.

« Le journal : la mise à distance par l'écriture », entretien avec Martine Chaudron, in *Identité, Lecture, Écriture*, sous la dir. de Martine Chaudron et François de Singly, Centre Pompidou B.P.I., 1993, p. 155-170.

« Le journal intime entre les lignes », interview par Emmanuelle Peyret, *Libération*, 19 mars 1996.

« Entretien », réalisé par Gabrielle Houbre et Florence Rochefort, *Clio, Histoire, Femmes et Société* (Presses univ. du Mirail), n° 4, 1996 (« Le temps des jeunes filles »), p. 177-182.

« Rien de plus compliqué qu'une écriture ordinaire », interview par Claire Devarrieux, *Libération*, 14 mai 1998, supplément Livres, p. II et III.

« Dialogue avec la vie », un entretien avec Philippe Lejeune, *Argos* (CRDP Académie de Créteil), n° 23, avril 1999, p. 55-59.

« L'écriture appartient à tous », propos recueillis par Catherine Argand, *Lire*, n° 282, février 2000, p. 42-43.

« Entretien avec Philippe Lejeune », propos recueillis par Sébastien Hoët, *Tausend Augen*, n° 23, août-octobre 2001, p. 45–50.

« Pour l'autobiographie », propos recueillis par Michel Delon, *Le Magazine littéraire*, n° 409, mai 2002, p. 20–23. [repris dans le "Hors-série" n° 11, mars–avril 2007, *Les Écritures du moi*, p. 6–11]

« Écriture en acte », propos recueillis par Valérie Guidoux, *Terre du CIEN*, Journal du centre interdisciplinaire sur l'enfant (Institut du champ freudien), n° 11, juin 2003, p. 5–7.

« Entretien », propos recueillis par Christine Ferrand, *Livres Hebdo*, 26 septembre 2003, p. 78–80 [Sur la publication de *Un journal à soi*].

« Entretien avec Philippe Lejeune », propos recueillis par Nathalie Jungerman, *Florilettres*, 12 février 2004.

« Une écriture souterraine : le journal intime féminin », *Hermaphrodite*, n° 10 (« Femme »), 2005, p. 212–217 (entretien recueilli par Axelle Felgine).

« "Cette nappe d'écriture souterraine..." », entretien réalisé par Marie-Claude Penloup, *Repères* (INRP), n° 34, 2006, p. 13–20.

« Interview » [entretien avec Nicolas Boileau sur le "genre"], in *La Fabrique du genre*, sous la direction de Sophie Marret et Claude Le Fustec, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 281–285.

« Ainsi parlait Philippe Lejeune », entretien réalisé par Kamel Riahi, publié en français et en arabe, Tunis, collection Travelling, 2009, 59 p. (français) et 68 p. (arabe).

« Doutes, erreurs, surprises, implications », entretien avec Philippe Lejeune, présentation de Ana Amelia Coelho, *Revista Criação & Crítica*, n° 4, abr. 2010, p. 207–217. [http://www.fflch.usp.br/dlm/criacaoecritica/dmdocuments/17CC_N4_entPLejeunefr.pdf]

« Il n'y a d'autre autobiographie possible que le modeste journal de nos illusions », entretien réalisé par Mihaela-Gențiana Stănișor, *Alkemie*, Revue semestrielle de littérature et de philosophie (Roumanie), n° 5, juin 2010, p. 151–158.

« Entretien avec Philippe Lejeune. Aux origines du journal personnel (1750–1815). Propos recueillis par Brigitte Diaz », *Le Magasin du XIXe siècle*, n° 2, 2012, p. 284–295.

« Poéticien : l'être ou l'avoir été. Propos recueillis par Florian Pennanech », n° 10 de LHT, *L'aventure poétique*, 2012 [<http://www.fabula.org/lht/10/>]

Articles

« Le dangereux supplément. Lecture d'un aveu de Rousseau », *Annales*, n° 4, 1974, p. 1009–1022.

« Le peigne cassé », *Poétique*, n° 25, 1976, p. 1–30. [Sur Rousseau]

« Stendhal et les problèmes de l'autobiographie », in *Stendhal et les problèmes de l'autobiographie*, colloque de 1974, Presses de l'Université de Grenoble, 1976, p. 21–36. [en ligne http://www.autopacte.org/Stendhal_problemes.html]

« Ça c'est fait comme ça », *Poétique*, n° 35, 1978, p. 269–304. [Sur une séquence du film *Sartre par lui-même*].

236 « Les instituteurs du XIXe siècle racontent leur vie », *Histoire de l'éducation*, n° 25, janvier, 1980, p. 53–104 (Répertoire des autobiographies écrites au XIXe siècle, Section 2, « Vies d'instituteurs », p. 83–104).

« Autobiographie et histoire sociale », *Revue de l'Institut de sociologie*, n° 1–2, 1982, p. 209–234 (Répertoire des autobiographies écrites en France au XIXe siècle, Section 1, « Vies commerciales, industrielles et financières », p. 226–234).

« Crime et testament. Les autobiographies de criminels au XIXe siècle », *Cahiers de sémiotique textuelle*, n° 8–9, 1986, p. 73–98 (Répertoire des autobiographies écrites au XIXe siècle, Section 3, « Vies de criminels, 1. 1789–1880 », p. 87–98).

« Les bricoleurs du moi », *La Croix*, 22–23 juin 1986, p. 20.

« Les souvenirs de lecture d'enfance de Sartre », in *Lectures de Sartre*, textes réunis et présentés par Claude Burgelin, Presses de l'Université de Lyon, 1986, p. 51–87.

« Friselis. Chronique de lecture », *Romance Studies*, n° 9, Winter 1986, p. 7–19. [Sur *La Fête des pères* de François Nourissier]

« Autobiographie et homosexualité en France au XIXe siècle », *Romantisme*, n° 56, 1987, p. 79–100 (Répertoire des autobiog-

ographies écrites en France au XIXe siècle, Section 4, « Vies d'homosexuels », p. 95–100).

« Cinéma et autobiographie, problèmes de vocabulaire », *Revue belge du cinéma*, n° 19, printemps 1987, p. 7–13.

« Le récit de vie, un nouveau genre ? », *Le Français aujourd'hui*, n° 79, septembre 1987, p. 59–66.

« Wanted : autobiographies ! », *L'Histoire*, n° 101, juin 1987, p. 82–83.

« L'autobiographie existe-t-elle ? », in *Biographie et Autobiographie au XXe siècle*, Actes du 20ème Congrès de l'A.G.E.S. (Montpellier, 16–17 mai 1987), Cahiers de l'Institut d'études germaniques (Université Paul Valéry, Montpellier III), p. 81–94.

« Cher cahier... », *Le Magazine littéraire*, n° 252–253, avril, 1988, p. 45–46.

« Peut-on innover en autobiographie ? », in *L'Autobiographie*, Les Belles Lettres, coll. « Confluents psychanalytiques », 1988, p. 67–100.

« Moi, la Clairon », in *Le Désir biographique*, Actes du colloque de Nanterre, 10–11 juin 1988, Cahiers de sémiotique textuelle, n° 16, p. 177–196. 237

« L'écriture privée. Projet d'enquête sur le journal personnel », *Cahiers du CEDREF* (Etudes féministes, Univ. Paris-VII), n° 1, 1989, p. 135–150.

« Ils, elles écrivent », *La Revue des livres pour enfants*, n° 134–135, automne, 1990, p. 68–71.

« Nouveau roman et retour à l'autobiographie », in *L'Auteur et le Manuscrit*, sous la dir. de Michel Contat, P.U.F., 1991, p. 51–70.

[Sur « Cher cahier... »], *Esprit*, mars-avril 1991, p. 160–162.

« Avant-propos », in *Archives autobiographiques, Cahiers de sémiotique textuelle*, n° 20, 1991, p. 5–9.

« Le Journal des diaristes », *ibid.*, p. 135–139.

« Collectif Archives des vies privées », *ibid.*, p. 189–192 (en collaboration avec Anne Martin-Fugier).

« Lire Pierre Rivière », *Le Débat*, n° 66, sept.–oct. 1991, p. 92–106.

« L'oubli. Étude génétique des récits d'enfance », *Ikon. Ricerche sulla Comunicazione*, Milano, Franco Angeli, n° 22, 1991, p. 57–70.

« Autogenèse. L'étude génétique des textes autobiographiques », *Genesis*, n° 1, 1991, p. 73–87.

« Vilin Souvenirs », *ibid.*, p. 127–130. [Présentation d'un inédit de Perec]

« Qu'est-ce qui ne va pas ? », in *Entre l'Histoire et le roman : la littérature personnelle*, Actes du séminaire de Bruxelles (16–17 mai 1991), édités par Madeleine Frédéric, Université Libre de Bruxelles, Centre d'études canadiennes, 1992, p. 47–92. [Étude d'« Apostrophes » du 13 octobre 1989]

« Le je des jeunes filles », *Poétique*, n° 94, avril 1993, p. 229–251.

« Le Journal de Marguerite », in *Le Récit d'enfance. Enfance et écriture*, sous la dir. de Denise Escarpit et Bernadette Poulou (Actes du colloque de Bordeaux, octobre 1992), Éd. du Sorbier, 1993, p. 41–62.

238 « Le journal d'adolescent, creuset des genres », in *Les Actes de la Villette. La littérature contemporaine*, sous la direction de M. Le Bouffant, Nathan, coll. « Pédagogie », 1993, p. 84–90.

« Livres perdus », *Nous voulons lire*, n° 100, oct. 1993, p. 103–104. [Deux souvenirs d'enfance]

« Trahison sartrienne », *Le Monde des livres*, 7 mai 1993, p. 27. [Sur le livre de Bianca Lamblin, *Mémoires d'une jeune fille dérangée*]

« Une autobiographie sous contrainte », *Le Magazine littéraire*, n° 316, décembre 1993 (n° Georges Perec), p. 18–21.

« Claude Mauriac et son Hermès Baby », *La Faute à Rousseau*, n° 5, février 1994, p. 28–29. [Interview de Claude Mauriac]

« Lucile Desmoulins » et « Jean-Paul Sartre », in *Les plus beaux manuscrits et journaux intimes de langue française*, sous la dir. de Mauricette Berne, Laffont, coll. « La mémoire de l'encre », 1995, p. 116–119 et 386–389.

« Ignace Meyerson et l'autobiographie », in *Pour une psychologie historique. Hommage à Ignace Meyerson*, textes réunis et publiés par Françoise Parot, P.U.F., 1996, p. 157–181.

« Les inventaires de textes autobiographiques », *Histoire, Économie et Société*, avril-juin 1996, p. 299–322. [<http://www.autopacte.org/inventaire3.html>]

« Sartre et quelques autres sur son autobiographie. Paratexte, documents et témoignages, présentés par Philippe Lejeune », in *Pourquoi et comment Sartre a écrit « Les Mots »*, sous la direction de Michel Contat, P.U.F., 1996, p. 445–473.

« Olivier Donnat, *Les Amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français* », *La Faute à Rousseau*, n° 12, juin 1996, p. 6–7.

« Le journal en procès », in *L'Autobiographie en procès*, colloque de Nanterre 18–19 octobre 1996, RITM, 1997, n° 14, p. 57–78.

« Tenir un journal. Histoire d'une enquête (1987–1997) », *Poétique*, n° 111, septembre 1997, p. 359–381.

« Témoignage », *Lecture Jeune*, octobre 1997, n° 84 (« Regards sur l'autobiographie et le témoignage »), p. 9–12. [<http://www.autopacte.org/T%E9moignage.html>]

« Anne Frank, pages retrouvées », *La Faute à Rousseau*, n° 19, 239
octobre 1998, p. 61–64.

« Le chemin (filmé) de la vie. Table ronde. Alain Bergala, Nicole Brenez, Philippe Lejeune, Patrice Rollet », in *Je est un film*, ouvrage coordonné par Alain Bergala, ACOR (Association des cinémas de l'Ouest pour la recherche), 1998, p. 11–33.

« Un brin de cassette : Benda, Léautaud », in *La Conversation. Un art de l'instant*, dirigé par Gérard Cahen, Autrement, collection Mutations, n° 182, 1999, p. 34–57.

« Les usages du journal intime », *Sciences humaines*, n°102, février 2000, p. 30–33.

« Ma vie ? Ce n'est pas intéressant !... », *Écrire & Éditer*, n° 26, 20 mars au 20 mai 2000, p. 25–29.

« Comment finissent les journaux », in *Genèses du « Je »*. *Manuscrits et autobiographie*, sous la dir. de Philippe Lejeune et Catherine Viollet, CNRS Éditions, 2000, p. 209–238.

« Où s'arrête la littérature ? », *Raison présente*, n° 134, 2ème trimestre 2000 (« Littératures en marge, littérature en marche »), p. 25–40.

« Margot et son journal d'exil ou les cailloux du Petit Poucet », *Genèses, Sciences sociales et histoire*, n° 38, mars 2000, p. 119–135.

« Vers une grammaire de l'autobiographie », *Genesis*, n° 16, 2001, p. 9–37. [<http://www.item.ens.fr/index.php?id=14217>]

« Le moi de Marie », in *L'Autobiographie*, dossier du n° 7 (2001) de la *Revue des Lettres et de Traduction* (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban), p. 265–292. [Sur la réception du *Journal* de Marie Bashkirtseff]

« Le goût de la vérité », in *Écriture de soi : Secrets et réticences*, textes réunis et présentés par Bertrand Degott et Marie Miguet-Ollagnier, Actes du colloque international de Besançon (22–24 novembre 2000), L'Harmattan, 2002, p. 365–371.

« La rédaction finale de *W* ou le souvenir d'enfance », *Poétique*, n° 133, février 2003, p. 73–106.

240 « Plongées. Étude génétique du *Temps immobile 1* », in *Claude Mauriac ou la liberté de l'esprit*, sous la direction de Claude Leroy et Nathalie Mauriac Dyer, *RITM*, n° 28, Université Paris-X, 2003, p. 55–78. [<http://www.item.ens.fr/index.php?id=14177>]

« Votre enfance en cinq leçons », in *Le Récit d'enfance et ses modèles*, Colloque de Cerisy septembre-octobre 2001, sous la direction d'Anne Chevalier et Carole Dornier, Caen, Presses universitaires de Caen, 2003, p. 281–296.

« Le rythme du journal d'Eugénie de Guérin », *L'Amitié Guérinienne*, n° 183, mai 2004, p. 13–36.

« Les journaux spirituels en France du XVIe au XVIIIe siècle », in *Problématiques de l'autobiographie*, n° 33 de *Littérales* (Université Paris X-Nanterre), 2004, p. 63–85. [http://www.autopacte.org/Journaux_spirituels.html]

« Pistes, listes », in *Michel Leiris ou De l'autobiographie considérée comme un art*, sous la direction de Philippe Lejeune, Claude Leroy et Catherine Maubon, *RITM*, n° 31, 2004, (Publidix, Nanterre), p. 5–17.

« Projet d'enquête sur la pratique du journal personnel dans l'Algérie d'aujourd'hui », in *L'Autobiographie en situation d'interculturalité*, colloque de l'Université d'Alger (décembre 2003), Blida, Editions du Tell, 2004, tome I, p. 31–49.

[http://www.autopacte.org/Enquete_Algerie.html]

« Le journal au bac », *Le Français aujourd'hui*, n° 147, octobre 2004, p. 15–20.

[http://www.autopacte.org/Le_journal_au_bac.html]

« Rousseau coupé », in *Genèse, censure et autocensure*, sous la direction de Catherine Viollet et Claire Bustarret, CNRS éditions, 2005, p. 37–58.

« Le journal d'Annick, 7 ans et demi », *Trames* (CRDP de Haute-Normandie), n° 12 (Éducatrices féminines), 2005, p. 85–100.

« Un journal d'Azaïs », in *De Perec etc., derechef, Mélanges offerts à Bernard Magné*, recueillis et présentés par Éric Beaumatin et Mireille Ribière, Paris, Joseph K., 2005, p. 275–285. [<http://www.autopacte.org/Azais.html>]

« "Rien". Journaux du 14 juillet 1789 », in *Le Bonheur de la littérature, Variations critiques pour Béatrice Didier*, sous la direction de Christine Montalbetti et Jacques Neefs, P.U.F., 2005, p. 277–284. [<http://www.autopacte.org/Rien.html>]

« Nos livres d'enfance nous analysent » et « Lire et écrire à la première personne », *Parole*, Revue de l'Institut Suisse Jeunesse et médias, 2005, p. 4–7. 241

« Atelier de lecture », *Riveneuve Continents*, n° 4, printemps 2006, p. 58–65.

« Archéologie de l'intime : Rétif de la Bretonne », in *Métamorphoses du journal personnel*, Catherine Viollet et Marie-Françoise Lemonnier-Delpy éd., Louvain-la-Neuve (Belgique), Academia Bruylant, 2006, p. 11–28.

[<http://www.autopacte.org/R%E9tif.html>]

« Petit Wilson et Grand Rousseau ? », in *Anthony Burgess, Autobiographer*, edited by Graham Woodroffe, Presses de l'Université d'Angers, 2006, p. 33–42.

« Visites », in *Autour du Temps immobile de Claude Mauriac, Cahiers de Malagar XV*, 2006, p. 73–85.

[<http://www.autopacte.org/Malagar.html>]

« Au jour d'aujourd'hui », in *Lettre et journal personnel*, dossier du n° 32, 2006, d'*Epistolaire. Revue de l'A.I.R.E.*, p. 57–70. [http://www.autopacte.org/Au_jour_d%27aujourd%27hui.html]

Présentation de trois lettres (de Lucile Desmoulins, Jean-Marie Goujon et Hector Berlioz) dans *Lettres intimes, une collection dévoilée*, Editions Textuel, 2006, p. 46–49, 52–55 et 118–121.

« Maisons perdues », in *"Genius loci" face à la mondialisation*, n° 6 des *Nouveaux cahiers franco-polonais*, Centre de civilisation polonaise de l'Université Paris-IV Sorbonne, 2006, p. 133–145.

« Les évasions », in *1939–1945. Lectures du fonds APA*, n° 33 des *Cahiers de l'APA*, 2006, p. 29–36.

« Le journal comme "antifiction" », *Poétique*, n° 149, février 2007, p. 3–14.

« Georges Perec : autobiographie et fiction », in *Genèse et autofiction*, J.-L. Jeannelle et C. Viollet (dir.), Louvain-la-Neuve, Académia Bruylant, 2007, p. 143–147.

« Claude Mauriac : immobile/écroulé/accompli », *La Faute à Rousseau*, n° 44, février 2007, p. 58–59.

[http://www.autopacte.org/CM_immobile_ecroule_accompli.html]

242 « Pourquoi les jeunes écrivent-ils? », dans *Pourquoi les jeunes écrivent-ils?*, intervenants : Philippe Lejeune, Marie-Françoise Chanfrault ; modératrice : Odile Amblard, Vivre et l'écrire (12 rue de Recouvrance, 45000 Orléans), 2007, 85 p. (Conférence à la Médiathèque d'Orléans, 4 décembre 2004, dans le cadre du Salon du livre écrit par les jeunes).

« Journal personnel et expérimentation », dans *Vies en récit. Formes littéraires et médiatiques de la biographie et de l'autobiographie*, sous la direction de Robert Dion, Frances Fortier, Barbara Havercroft et Hans-Jürgen Lüsebrink, Québec, Editions Nota Bene, collection Convergences, 2007, p. 21–42.

« Journaux d'exploration », *Chemins de formation au fil du temps...*, n° 10–11, octobre 2007, p. 257–261.

« O mon papier ! », dans *Les Ecrits du for privé ; objets matériels, objets édités*, sous la direction de Michel Cassan, Jean-Pierre Bardet, François-Joseph Ruggiu, Limoges, Presses de l'université de Limoges, 2007, p. 287–295.

« Pierre-Philippe Candy, diariste sexuel », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 55–1, janvier-mars 2008, p. 164–178.

« L'autobiographie et l'aveu sexuel », *Revue de littérature comparée*, janvier-mars 2008, p. 37–51.

« Génétique et autobiographie », *Lalies* (Éditions Rue d'Ulm), n° 28, 2008, p. 169–187.

« Journaux en famille : les Coquebert de Montbret », *Lalies* (Éditions Rue d'Ulm), n° 28, 2008, p. 189–203.

« Marc-Antoine Jullien, contrôleur de temps », *Lalies* (Éditions Rue d'Ulm), n° 28, 2008, p. 205–220.

« Hyacinthe Azaïs, diariste ambulancier », *Lalies* (Éditions Rue d'Ulm), n° 28, 2008, p. 221–227.

« Pourquoi Marie d'Agoult n'a pas publié ses Mémoires », *Moi public et moi privé dans les Mémoires et écrits autobiographiques du XVIIIe siècle à nos jours*, études réunies et présentées par Rolf Wintermeyer en collaboration avec Corinne Bouillot, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2008, 101–121.

« Le goût de l'écriture », 303, *La revue culturelle des pays de la Loire*, n° 102, 2008, p. 196–197 [sur le *Journal* de Paul-Émile Pajot]

« Interview » [entretien avec Nicolas Boileau sur le "genre"], 243 in *La Fabrique du genre*, sous la direction de Sophie Marret et Claude Le Fustec, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 281–285.

« Aux origines du journal personnel », in *Mémoires d'Amérique. Correspondances, journaux intimes, récits autobiographiques*, sous la direction d'Ada Savin et Paule Lévy, Paris, Michel Houdiard, 2008, p. 11 à 18.

[<http://www.autopacte.org/Origines.html>]

« Gratte-papiers de l'ombre : en êtes-vous un ? », *Plume*, n° 47, décembre, janvier, février 2009, p. 40–45

« Rousseau et la révolution autobiographique », *Le Biographique, la réflexivité et les temporalités. Articuler langues, culture et formation*, Dominique Bachelard et Gaston Pineau (coord.), Paris, L'Harmattan, 2009, p. 49–65.

« Le moi est-il international ? », *Biography*, 31, 1 (Winter 2009), p. 1–8.

« Matthieu Galey : le moi en ricochets », in *Les Journaux de la vie littéraire. Actes du colloque de Brest, 18–19 octobre 2007*, textes

réunis et présentés par Pierre-Jean Dufief, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 109–147.

« Le journal au seuil de l'intimité », in *Pour une histoire de l'intime et de ses variations*, sous la direction d'Anne Coudreuse et de Françoise Simonet-Tenant, *Itinéraires*, n° 2009–4, L'Harmattan, p. 75–90.

« Journal intime : pléonasme ou oxymore ? », *Cahiers du Monde russe*, n° 50/1, "Écrits personnels. Russie XVIII^e-XX^e siècles », Paris, Éditions de l'EHESS (janvier-mars 2009), p. 17–20.

« Louis Odier, *Confession* », en collaboration avec Philip Rieder, *Les Moments littéraires*, n° 23, 1^{er} semestre 2010, p. 57–82.

« Célestin Guitard, diariste malade », in *Les écrits du for privé en Europe du Moyen Age à l'époque contemporaine*, sous la direction de Jean-Pierre Bardet, Elisabeth Arnoul et François-Jospeh Ruggiu, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 303–314.

244 « "Mais *basta*. Ceci est un journal". Louis-François Guiguer entre le privé et l'intime », in *Le Partage de l'intime. Le Journal de Louis-François Guiguer et les écrits personnels en Suisse romande*, Journée d'études au Château de Prangins, le 14 novembre 2009, *Revue suisse d'Art et d'Archéologie*, volume 67, 2010 Cahier 4, p. 247–254.

« Philippe de Noircarmes, diariste minute (1775–1777) », in "*Car c'est moy que je peins*". *Écritures de soi, individu et liens sociaux (Europe, XVe–XXe siècle)*, sous la direction de Sylvie Mouysset, Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu, CNRS - Université de Toulouse Le Mirail, 2010, p. 85–99.

« Poétique Story », in *Pour Michel Charles, Quarante et un textes, Poétique* n° 165 bis, 2011, p. 63–68 (Hors commerce).

« Le journal : genèse d'une pratique », *Genesis*, 32 ("Journaux personnels"), textes réunis et présentés par Françoise Simonet-Tenant et Catherine Viollet, 2011, p. 29–41.

« Le Journal d'Hélène Berr », in *Écrire sous l'Occupation. Du non-consentement à la Résistance. France-Belgique-Pologne 1940–1945*, sous la direction de Bruno Curatolo et François Marcot, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 15–23.

« Journaux féminins tenus sous l'Occupation. Bibliographie », in *Écrire sous l'Occupation. Du non-consentement à la Résistance. France-Belgique-Pologne 1940–1945*, sous la direction de Bruno Curatolo et François Marcot, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 397–410.

« Claude Mauriac et l'écroulement du *Temps immobile* », in *AutoBioPhagies*, May Chehab et Apostolos Lampropoulos (dir.), Berne, Peter Lang, 2011, p. 92–101.

« Techniques de narration dans le récit d'enfance », in *Jules Vallès et l'autobiographie* (Rencontres de Nantes, 28–29 mai 2010), *Autour de Vallès*, n° 41, 2011, p. 169–192.

« Confier », in *Rousseau au fil des mots. Dix mots, dix écrivains, cent citations*, Genouilleux, Éditions La Passe du vent, 2012, p. 87–90.

« Une poétique du brouillon », in *Les Journaux d'écrivains : enjeux génériques et éditoriaux*, textes rassemblés et présentés par Cécile Meynard, Berne, Peter Lang, 2012, p. 19–36.

« Écrivains au défi », in *La Face cachée de l'autobiographie*, sous la direction de Anna Iuso, Carcassonne, Garae Hésiode, 2012, p. 179–201. 245

« Le journal quotidien à Émilie Serpin (1863–1881) », *Clio (Histoire, Femmes et Sociétés)*, n° 35, « Écrire au quotidien », Isabelle Lacoue-Labarthe, Sylvie Mouysset, Agnès Fine (coord.), 2012, p. 147–162.

« Avant-propos » de « L'écrivain Anne Frank. Visite de son atelier et traduction d'extraits inédits en français », par Clazina Maria Schrama, *Diaspora. Histoire et société*, n° 19, 2012, p. 155–156.

« Jean Donostia, diariste », *Les Moments littéraires*, n° 28, 2e semestre 2012, p. 57–60.

« Entretien avec Philippe Lejeune. Aux origines du journal personnel (1750–1815). Propos recueillis par Brigitte Diaz », *Le Magasin du XIXe siècle*, n° 2, 2012, p. 284–295.

Transcriptions de journaux ou lettres inédits (XIXe siècle) déposées à l'APA

Paul Jamin, *Journal 1869–1894*, 1996, 234 p. APA 239 (*Garde-mémoire* 2, n° 5).

François Bernardin Louis Delleulion de Thorigny, *Journal exact mais secret de ma vie*, présenté par Philippe Lejeune, 2003, 20 p. (APA 2648, *Garde-mémoire* 9, n° 1) (Manuscrit : Archives municipales de Lyon).

Soline Pronzat de Langlade, *Pensées intimes et Notes de mes souvenirs*, 2 fascicules, 89 p. + annexes et fac-similés, introduction de Philippe Lejeune, 2007, APA 2610 (*Garde-mémoire* 9, n° 3).

Pauline Weill, *Journal, 1958–1959*, présentation et transcription de Philippe Lejeune, 2007, 226 p., en 2 volumes, APA 2756 (*Garde-mémoire* 9, n° 6).

Elisabeth et Robert Surcouf, *Lettres 1870–1871*, présentation et extraits, 2010, APA 2421 (*Garde-mémoire* 8, n° 4).

246 Marie-Louise Duvernoy, *Journal 18 février 1905–3 août 1908*, transcription et présentation par Philippe Lejeune, mai 2010–octobre 2011, 73 p., APA 3201.

Emilie Serpin, *Journal quotidien à Emile Serpin, 1863–1881*, présentation et extraits transcrits par Philippe Lejeune, 2011, 186 p., APA 3143.

English

Books

On Autobiography, edited and with a foreword by Paul John Eakin, translated by Katherine Leary, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989. Theory and History of Literature vol. 52, 289 p. (ensemble de textes tirés essentiellement du *Pacte*, de *Je est un autre* et de *Moi aussi*, choisis et présentés par Paul John Eakin). [épuisé]

On Diary, edited and with a foreword by Jeremy Popkin and Julie Rak, translated by Kathy Durnin, University of Hawaii Press, 2009. 336 p.

Articles

« Glossaire », *Sub-Stance*, 1975, n° 11–12, p. 116–130 (Deux extraits de *Lire Leiris* et du *Pacte autobiographique*, sur Michel Leiris).

« Autobiography in the Third Person », *New Literary History*, 1977, IX, 1, autumn 1977, p. 27–50.

« The Autobiographical Contract », in *French Literary Theory Today*, edited by Tzvetan Todorov, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 196–222.

« Women and Autobiography at Author's Expense », *New York Literary Forum*, 1984, n° 12–13 (« The Female Autograph »), p. 247–260 ; puis *The Female Autograph*, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, p. 207–218.

« Making Ripples : A Reader's Chronicle », *Romance Studies*, 1986, n° 9, Winter 1986, p. 21–34. (Sur *La Fête des pères* de François Nourissier).

« The Genetic Study of Autobiographical Texts », *Biography*, Vol. 14, n° 1, Winter 1991, p. 1–11.

« W or the Memory of Childhood », in *The Review of Contemporary Fiction*, volume 13, n° 1, Spring 1993, p. 88–97 (traduction par David Bellos)

« When Sartre's love triangle turned sour », *Guardian Weekly*, May 23, 1993, p. 15.

« The “Journal de jeune fille” in Nineteenth Century France », in *Inscribing the Daily. Critical Essays on Women's Diaries*, ed. by Suzanne L. Bunkers and Cynthia A. Huff, Amherst, University of Massachusetts Press, 1996, p. 107–122.

« The Garde-mémoire - Memory Keeper », *Sites*, vol. 2, Issue 1, Spring 1998, p. 153–160 (traduction par Alyson Waters).

« The Practice of the Private Journal : Chronicle of an Investigation (1986–1998) », in *Marginal Voices, Marginal Forms : Diaries in European Literature and History*, edited by Rachel Langford and

Russell West, Amsterdam et Atlanta, Rodopi, 1999, p. 185–211 (traduction par Russell West).

« How do diaries end ? », in *Autobiography and Changing Identities*, guest editors Susanna Egan and Gabriele Helms, *Biography*, volume 24, number 1, Winter 2001, p. 99–112 (traduction par Victoria Ledewick).

« Auto-genesis : Genetic Studies of Autobiographical Texts », in *Genetic criticism : Texts and Avant-texts*, Jed Deppman, Daniel Ferrer and Michael Groden eds., University of Pennsylvania Press, 2004, p. 193–217 (traduction par Jed Deppman).

« Little Wilson and Big Rousseau ? », in *Anthony Burgess, Autobiographer*, edited by Graham Woodroffe, Presses de l'Université d'Angers, 2006, p. 43–52 (traduction par Graham Woodroffe).

« Is the I international ? », *Biography*, 31, 1 (Winter 2009), p. 8–15 (traduction par Jean Yamasaki Toyama).

248 « Marc-Antoine Jullien : Controlling Time », in *Controlling Time and Shaping the Self. Developments in Autobiographical Writing since the Sixteenth Century*, edited by Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, Michale Mascuch, Leide, Boston, Brill, 2011, p. 95–119 (traduction par Marie-Danielle Leruez).

« The Story of a French Life-Writing Archive : "Association pour l'autobiographie et le Patrimoine Autobiographique" », *Forum : Qualitative Social Research*, volume 12, n° 3, art. 7, September 2011.

[<http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/1739/3239>].

Русский

В защиту автобиографии // Иностранная литература. 2000. № 4. С. 110–122 (Пер. Б. Дубина).

«Когда кончается литература?» Беседа с Еленой Гальцовой от 28 октября 2000 г. // Там же. С. 261–275.

«Я в некотором смысле создатель религиозной секты...» С Филиппом Лежёном, профессором университета Пари-Нор, бе-

седует Елена Гальцова // Иностранная литература. 2001. № 4. С. 257–264.

Девичье «я» // Вопросы филологии. 2001, № 3 (9). С. 83–90.

Ведете ли вы дневник? // Книжнле обозрение, 2002. 4 марта. С. 2.

«Я» молодых девушек // Автобиографическая практика в России и во Франции. М., 2006. С. 13–29.

От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. №3 (83). С. 199–2017.

Сведения об авторах

Аванян Гаяне Григорьевна — выпускница Отделения культурологии Факультета философии НИУ ВШЭ.

Вагина Мария Юрьевна — выпускница Отделения культурологии Факультета философии НИУ ВШЭ.

Голубович Инна Владимировна — доктор философских наук, профессор Кафедры философии естественнонаучных факультетов Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Гуляев Роман Владимирович — аспирант Факультета философии НИУ ВШЭ.

Зарецкий Юрий Петрович — доктор исторических наук, профессор Кафедры истории философии Факультета философии НИУ ВШЭ.

Лежен Филипп — крупнейший современный исследователь автобиографии, глава АРА (Association pour l'autobiographie).

Менжулин Вадим Игоревич — кандидат философских наук, доцент Кафедры философии Национального университета «Киево-Могилянская Академия».

Морозова Ольга Михайловна — доктор исторических наук, доцент кафедры "Связи с общественностью" Донского государственного технического университета, Ростов-на-Дону.

Никитина Елена Сергеевна — кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора психолингвистики Института языкознания РАН.

Рощин Михаил Юрьевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН.

Селиверстов Владимир Валерьевич — аспирант Факультета философии НИУ ВШЭ

Толкачева Елена Владимировна — аспирантка МГУ.

Харченко Александр Александрович — кандидат исторических наук, инженер-исследователь государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Донское наследие», Ростов-на-Дону.

Научное издание

Автор и биография, письмо и чтение.
Сборник докладов

Редактор-корректор А.Ю. Зарецкая
Художественный редактор Ю.П. Зарецкий
Компьютерная верстка и графика: А.Ю. Зарецкая

252

Подписано в печать 01.03.2013.
Гарнитура Georgia. Усл. печ. л.
Тираж 150 экз. Изд. №

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел./факс: (499) 611-15-52